

Александр ЛОЗОВСКИЙ

Чужой
Роман*Все хорошее я придумал,
все плохое было в действительности.*Джон Б. Вильямс,
«Реминисценции»Часть первая
Одесса

1. Начало

Я жил – и еще, слава богу, живу - в очень интересное время. На стыке нескольких эпох. Поэтому мне хочется рассказать не об этих эпохах – об этом сотни томов написаны, - а о жизни одного конкретного человека, попавшего в эту мельницу. Моей жизни. Полякова Бориса Моисеевича, который волею судьбы после пятидесяти пяти лет потерял отчество и стал просто Борис с ударением на букве «О». Что было, чего не было. В крайнем случае, мне самому будет интересно вспомнить – уже неплохо.

Есть среди читателей любители разных жанров – серьезной литературы, детективов, фэнтези, женских любовных романов и так далее. Или масскультуры Дарьи Донцовой. Но воспоминания - в прошлом мемуары - это особый жанр. Если человек намерен искренне рассказать о своей жизни, а не только поведать читателям, с какими известными и даже великими людьми он был знаком, тогда в воспоминаниях – как и в самой жизни - неизбежно будут соседствовать все жанры, от трагедии и драмы до комедии и мелодрамы. И даже эссе. Все в одном флаконе...

Что еще... Я отношусь к уходящему поколению, поэтому в моих текстах наверняка не хватает современной жесткости, напористости и ничем не сдерживаемой откровенности. И может иногда, вопреки желанию, даже появляется немодная и устаревшая сентиментальность. Признаюсь, было у меня желание написать подзаголовок «Несовременная проза», но скромность не позволила. Нельзя обычным воспоминаниям присваивать ко многому обязывающее определение «проза». Но что делать, если я до сих пор люблю в музыке гармонию, а в литературе – содержание и форму, ему соответствующую? Никак не могу перестроиться...

Кроме естественного желания вспомнить прожитые годы, есть еще одна цель, хотя в основном она касается только меня, читатель тут ни при чем. Я хочу попытаться понять, почему большую часть жизни чувствовал себя чужим. Почему с каждым годом контакты с окружающими меня людьми становились для меня все больше обязательной нагрузкой и все меньше необходимостью и удовольствием.

Безусловно, правы будут те, кто посоветует искать основные причины в себе самом... Но все-таки немалую роль играли и внешние, не зависящие от меня обстоятельства. Начнем с того, что речь идет о еврее, родившемся в стране, где ему всегда было нелегко чувствовать себя своим, и затем в зрелом возрасте эмигрировавшем в Израиль, государство с явно выраженной религиозно-национальной фанаберией. Согласитесь, в том и другом случае были те самые внешние обстоятельства, на которые я намекал чуть выше.

А последние почти четверть века вмешался в мою жизнь еще один очень мощный фактор отчуждения, который касается, я думаю, в той или иной мере почти каждого. Я не назвал бы это одиночеством, о котором так много говорят ныне. Мне кажется, что это

скорее нечто другое – человек все больше чувствует себя «чужим» среди с каждым днем усиливающегося перемешивания огромных масс людей, непохожих ни по языку, ни по ментальности, ни по культуре. Замес становится все гуще, а в то же время каждая группа отчаянно борется за свою непохожесть, отделяется от других. Ведь эти две противоречащие тенденции и составляют основу современной жизни, во всяком случае в развитых странах, не так ли?

Комнату справа
Снимает китаец,
Комнату слева
Снимает малаец.
Номер над вами
Снимает монгол.
Номер под вами -
Мулат и креол!..

Поэтому, безусловно, характер, натура... Я не собираюсь возражать против этого. Но характер тоже формируется не сам по себе, а натура не возникает на голом месте.

Хочу заранее предупредить – личные отношения с очень близкими мне людьми, друзьями, любимыми и нелюбимыми женщинами мои и только мои, Бориса Полякова. Здесь прототипы даже не пытайтесь отыскивать. А вот прочие совпадения с кем-то или чем-то вам известным вполне можно считать не случайными, а ожидаемыми. Все мы дети одного смутного времени, у многих из нас в судьбе, хотим мы этого или не хотим, много общего.

Я постараюсь не отходить далеко от того, что помню, хотя безусловно некоторые подробности, фразы и диалоги придется реставрировать. Иначе не получится...

И последнее. Может, я слишком свободно обращаюсь с городами, годами, числами – прошу прощения. Чуть позже я объясню, почему так поступаю. Но это мои воспоминания и мое право. Для меня важнее суть событий. Так что сверять написанное мною, к примеру, с географическими картами в руках смысла нет.

Давайте-ка я перейду к рассказу о себе.

Начну не с первых дней моей биографии, потому что начала ее я по вполне естественным причинам не помню. Смутно припоминаю себя скачущим по дивану в одесской квартире, а мама старается меня утихомирить. Ребенком я был, судя по всему, балованным. Отца помню плохо. Он нас оставил, когда мне не было и трех лет. Видел фотографию - высокий, кудрявый, носатый, но в общем интересный мужчина. В начале войны он жил в Ленинграде, там же был мобилизован и там же погиб.

А начало войны и эвакуацию я более-менее помню – это была стрессовая ситуация, такое не забудешь. Да и было мне тогда уже шесть лет – взрослый мужик.

Летом сорок первого года я гостил в селе Головное Одесской области у бабушки и тети Лены. Название на карте можете не искать, это не «документальный экран». А за все по сути я ручаюсь.

Насколько помню, я лето в селе проводил каждый год, но на сей раз все было необычно – началась война. Двадцать второго июня она началась, а двадцать восьмого июля наши войска уже оставили Головное. Времени на то, чтобы что-то сообразить, а тем более предпринять, было в обрез. А соображать было о чем. Дело в том, что Головное считалось еврейским селом, то есть евреев в нем было достаточно много. Я даже с большой точностью могу назвать сколько – потом поймете, почему знаю примерную цифру. Было около тысячи

трехсот человек. Идиш и украинский язык везде звучали примерно с одинаковой частотой, и никого это особенно не напрягало. А тут война! Около трехсот евреев было призвано в армию в первые же дни; кстати, сын тети Лены добавил себе год и пошел в танковое училище. Почти сразу же был мобилизован почти весь автотранспорт, довольно быстро вывезены какие-то ценности и крупное начальство, а остальное было не к спеху. К примеру, вывезли с маслобойни – считалось по тем временам крупным предприятием – две-три машины растительного масла, тоже нужное дело. А население? Оказалось, что эвакуация населения дело рук самого населения, если оно этого желает.

Слухи о том, что немцы не любят евреев, конечно, были; самые образованные даже видели года три назад фильм «Профессор Мамлок», где фашисты обижали бедного еврейского врача, а весь немецкий народ боролся с ними, во всяком случае очень не любил. Уточню – не любил (оказывается) фашистов. Ну обижали в этом фильме евреев, даже куда-то кого-то сажали, но это не могло поразить советских людей, которые были привычны к беззаконию, к тому, что люди могли исчезать пачками, гибнуть целыми селами, что за колоски детей с 12-ти лет могли жестоко судить, как взрослых. Дело житейское. Но даже такие косметические сведения о еврейском вопросе в Германии до населения не доходили уже давно, с 39 года. После заключения пакта Молотова – Риббентропа любая антигитлеровская пропаганда была запрещена, и Германия стала официально выглядеть куда более приличным государством, чем проклятые капиталисты из Англии и Америки. А что происходило с евреями в Польше, никому не сообщали.

И все-таки желание уехать было. Но возможности?

В своем возрасте я далеко не все мог оценить. Впечатление о тех днях является каким-то сплавом того, что я помню, и того, о чем мне позже рассказывали тетя Лена и бабушка. Плюс то, что я не понимал, но подсознательно чувствовал, а дети – как известно – сильнейший локатор. Словом, я могу с полной ответственностью рассказывать о том периоде как свидетель и как участник.

Село Головное было связано с миром одной шоссейной дорогой и остальными проселочными. Правда, недалеко находилась станция узкоколейки. Одна колея и почти игрушечные паровозики и вагончики. Но эта железная дорога вела на запад, то есть туда, откуда с большой скоростью надвигались немцы. Да и она – насколько я знаю – сразу перестала действовать. Ближайшая железнодорожная станция на востоке была в ста семи километрах. Как их пройти? Женщины, дети, старики. Практически не было семей, способных на это. И никто не обещал, тем более не гарантировал, что оттуда их увезут дальше. Даже если был четкий выбор – смерть или попытка эвакуации, – то и тогда мало кто смог бы бросить, скажем, больную тещу, как не смог этого сделать мой дядя Иосиф, и пойти с женой и детьми пешком. Власти, разумеется, знали, что оставляют людей на верную смерть, но информировать об этом не пытались. Не до того им было... Мы с вами говорим не просто о власти, а о сталинской советской власти, знаем ей цену. Тут комментарии излишни.

Время поджимало. Подвод и лошадей, которыми могли воспользоваться беженцы, было немного, в основном колхозные, маслозавода и так далее. И решились на эвакуацию те, кто, во-первых, знал, что их ждет смерть, и, во-вторых, те, кто имел возможность получить хоть какой-то гужевой транспорт. На мое счастье тетя Лена была коммунисткой, еврейкой – два первых условия, то есть необходимость, а кроме того, она была судьей в отставке – условие второе, возможность.

Ей телегу дали. На ней кроме нас с бабушкой сидел хозяин лошади с женой и ребенком моего возраста – тоже еврей и коммунист. Дяде Иосифу, которого не мобилизовали, так как у него было огромное и страшное – часто снилось мне по ночам – бельмо на глазу, транспорт не достался. У меня перед глазами стоит эта сцена – мы с бабушкой сидим на телеге, с нами один «клумок» с вещами, дядя пытается усадить злющую

тещу, которая на всех языках честит бедного зятя и отказывается залезть к нам. И – к сожалению – она права. Мы все не помещаемся. Бабушка моя прихрамывает от рождения, У Иосифа трое детей, самая младшая дочка - на руках. Пешком рядом с телегой может идти только он и, может быть, немного старший сын, которому лет десять. А теща без перины сесть не соглашается. Сто километров, и это в лучшем случае. Дядя отчаянно машет рукой – езжайте. Я это не сочиняю, я помню. Мы отъезжаем, он стоит, склонив голову, теща рядом, рта не закрывает. Такая картина...

Вдруг тихая и всегда покладистая бабушка решительно командует:

- Стой, так нельзя! Я, старая, уеду, а сын останется? Так нельзя. Я тоже остаюсь.

- Мама!

- Тебе не ехать нельзя. А мы с Боречкой останемся. Ты же знаешь, дороги бомбят. А у меня нога. Если придется идти, то мы с Боречкой не ходоки. И кто нас возьмет на поезд? Ты парня не довезешь. Как матери потом в глаза смотреть? А тут будем в хате, носа не высунем. Старе та мале. Кому мы нужны?

Никто не думал, что понадобятся все. И старе, и мале.

Тетя Лена явно колебалась. Бабушка стала продвигаться к краю повозки. Тут неожиданно вмешался наш кучер. Он сказал, что тогда в телеге останется всего четверо, так нельзя. Придется еще искать желающих бежать, а обоз отходит через пятнадцать минут.

Тетя Лена резко одернула бабушку – она могла быть и властной, и грубой «судья Полонская», так ее, несмотря на отставку, все в Головном называли.

- Все поехали. Я сказала, поехали!

Так был сделан выбор между жизнью и смертью, в том числе и моей.

Евреев осталось в селе девятьсот человек. Сто были расстреляны сразу же после того, как немцы вошли в Головное. Восемьсот позже. Вот откуда я знаю, сколько евреев осталось в оккупации:

«Началась дикая расправа с еврейским населением. Около 100 человек евреев расстреляли на месте. Затем собрали человек 800, на автомашинах под охраной вывезли в лес и всех расстреляли. Среди них было очень много женщин, детей. Девочек 12–15-ти лет немцы перед расстрелом насиловали... Немцы отнимали у матерей и бросали маленьких детей живыми в колодец, который наполнился почти доверху и его засыпали землей». Это документальный источник.

У моего дяди был грудной ребенок...

Я не удивляюсь тому, что на территории Украины и Белоруссии было так много засыпанных в рвах и ямах евреев. Не удивляюсь Бабьему Яру. Сознательно перекрыли информацию о злодеяниях немцев, и не было возможности уехать. В Польше другое дело. В Польшу вошли с запада гитлеровцы, а с востока Красная армия. Польским евреям некуда было бежать, польских беженцев Сталин, добросовестно выполняя союзнические обязательства, выдал немцам.

Мне удалось выжить. На войне как на войне, одним солдатам удастся выжить, другим нет. А мы и являлись тогда солдатами, во всяком случае в смысле жизни и смерти. Из евреев, которые были в те дни со мной в Головном, выжил только один из десяти. В моей десятке это был я. Редкий счастливый случай, и – такими вещами не шутят и их не придумывают - все это правда, истинная правда.

Как ни странно, но я только сейчас, когда пишу эти строки, наверно впервые осознал, что благодаря редкой счастливой случайности живу на этом свете. И должен быть благодарен судьбе уже за одно это.

На телеге до станции мы добирались два дня. Отдаленный грохот раздавался время от времени со всех сторон, даже с той стороны, куда мы направлялись. Может, бомбежки, а

может, фронты... Позже я узнал, что район Головного был тогда ареной многочисленных прорывов немцев. Уманский котел, Первомайский, Николаевский – все это было недалеко. Я думаю, что посчитав себя одним спасенным из десяти, был оптимистом...

Потом ехали на поездах долго, в основном ночами, с пересадками – нашей целью был город Горький, там жил еще один мой дядя – Зиновий. Поезда все время бомбили, и это было по-настоящему страшно. Но доехали благополучно, если такое выражение уместно в данных обстоятельствах.

Какое-то время мы жили в квартире у дяди, надеясь, что именно туда придет весточка от мамы. Об окружении немцами Одессы и ее обороне, конечно, нам было известно.

В одно прекрасное – действительно прекрасное, это не форма речи – утро без всяких писем и телеграмм появилась мама. В военной форме, в гимнастерке, подпоясанной широким ремнем, – я им пользовался много лет. Она была санитаркой, ушла из Одессы на одном из последних пароходов, перевозящих раненых. Пароход разбомбили, и она шесть часов провела со спасательным кругом в море, благо вода была еще не холодная. Потом их подобрала катера. Тоже одна из немногих...

В Горьком мы прожили недолго. Мама и тетя Лена были направлены на работу в глубинку. Там было мало людей с образованием и коммунистов. А мама и, естественно, «судья Полонская» были членами партии. Обе получили довольно приличные должности. Мама на маленьком – но оборонного значения – комбинате вблизи железнодорожной станции в лесном диковатом районе. Если я чего-нибудь не перепутал, то там получали канифоль для авиационной промышленности. А тетя Лена была назначена директором леспромхоза в еще большей глубинке. Бабушка осталась на станции с нами.

Первая зима была тяжелой, мы жили в полуразрушенном доме, было холодно и голодно. Но к весне постепенно наша жизнь нормализовалась. Летом нам дали две комнаты в неплохом коттедже. Маленький палисадник под окном – наш собственный - был огорожен зеленым забором. Там росла травка – пища для кроликов, которых я разводил. Как и почему я стал кролиководом, расскажу чуть дальше. Питались мы, наверно, нормально, потому что проблема еды в моей памяти не сохранилась. Зато сохранились другие проблемы...

Места были очень красивые. Сразу за домом протекала то ли речка, то ли ручей, там была довольно глубокая яма, настолько глубокая, что руки не доставали до дна и я научился плавать. Не очень далеко от нас, меньше километра, была настоящая река – рассекречу ее название, бог с вами. Это была Ветлуга. Возле нее прекрасная пойма, там росли щавель, дикий лук и чеснок, ягоды... гулять там было поистине наслаждением. Но я там был один или два раза за почти три года. Почему?

2. Ближе к названию романа

Приходится перейти к теме, близкой названию романа. В первые же дни моей учебы в начальной железнодорожной школе обнаружилось, что мое отчество Моисеевич. И с тех пор я стал добычей для любого желающего поиздеваться. Почему только я? Наверно других евреев поблизости не было, Горьковская область не Ташкент и не среднеазиатские республики, где было много евреев-беженцев.

Конечно, не сами детишки своим умом до этого взрыва ненависти дошли. Простите меня, может, «ненависть» сильно сказано, но у меня такие свежие, до сих пор не зарубцевавшиеся раны с того времени, что подбирать политкорректные определения не хочется.

Даже тех, кто хорошо знает историю евреев в России, поражает резкая и внезапная вспышка массового антисемитизма после начала войны. Особенно в тылу, в российской

глубинке. Хотя не только в тылу. На оккупированных территориях Украины, Белоруссии, Прибалтики...

Правда, некоторое оживление этого «движения» началось еще в тридцать девятом году. Можно его связать с крепнущей советско-германской дружбой. Можно связать с «охлаждением» к евреям лично товарища Сталина (в эти годы начались массовые увольнения евреев из судебных и репрессивных органов, а Молотов обещал чекистам, что «здесь синагогу мы больше не допустим»). Возможно, имело влияние и большое количество евреев в этих органах, с этим тоже можно связать. Можно ни с чем не связывать, просто люди почувствовали, что теперь не запрещено...

Каждый поход в школу и особенно из школы был для меня подвигом. Какие дороги и тайные тропы я не избирал, меня всегда ждала засада. Били, щипали, «откручивали» нос, делали «салазки», и все это сопровождалось словами «жид» в различных сочетаниях. То «говном напхатый», то «по веревочке бежит» и так далее. Я больше двух лет, до возвращения в Одессу, практически, кроме школы, из дома никуда не выходил. И занимался кролиководством. У меня за три года эвакуации не было ни одного друга; ни одного имени, ни одного лица не могу вспомнить, кроме круглой физиономии верзилы, белобрысого балбеса года на три старше меня, предводителя этой патриотической ватаги.

Дома я вел себя скверно, грубил, часто делал всем назло. Агрессия порождает агрессию.

Конечно, это характер, конечно, это воспитание. Но я с уважением отношусь к Фрейдю и верю, что многие комплексы закладываются в детстве. Наверно, все описанное мною явилось одним из первых кирпичиков в комплексах под названием «чужой». Таких кирпичиков было немало. Судя по результатам, на прочную базу хватило.

Я иногда думаю – почему я не давал сдачи, не сопротивлялся? Трусоват? Но ведь я отлично помню – при «захвате в плен» не шел ни на какие физические унижения, к примеру, землю не ел, пощады не просил и никогда не плакал. Только стойчески терпел. Я думаю, дело было в том, что мне казалось – весь мир против меня, а значит, я этого заслуживаю. Я - другой. «Выродок», называл меня белобрысый балбес.

Когда мы вернулись в Одессу – а было это через полтора месяца после ее освобождения, - ситуация по сравнению с эвакуацией изменилась. К этому времени я уже осознал, что я не один изгой во вселенной, в классе было довольно много евреев. Я понял, что те, кто со мной задирается, просто хулиганы, а не представители мировой справедливости. И на первую же попытку поиздеваться довольно крупных по сравнению со мной ребят я решительно ответил. В те времена мы носили в мешочке на длинной веревочной завязке довольно увесистую чернильницу-невывливайку. Я покрутил ею, как пращей, и прилично съездил кому-то по уху, до крови. Продолжая размахивать чернильницей и выкрикивая угрозы, пошел в атаку. Противники отступили со словами – нечего с этим ненормальным связываться. На этом мои военные действия закончились. В следующем году я перешел в другую школу, и там... там дружба, многолетняя дружба была таким контрастом со всей моей недолгой историей, что я оттаял. Говорят, мальчики всегда дерутся, не знаю, моя школьная жизнь сложилась так, что драться больше не пришлось ни разу, хотя я довольно долго был среди «маленьких». В нашем классе бить маленьких было не принято.

3. Снова в Одессе

Первые годы после войны жизнь в Одессе была голодная и тяжелая, для нашей семьи хуже, чем последние годы в эвакуации. Мамалыга была большим лакомством. Но это всем известно, и я постараюсь не повторять то, что многократно уже описано. Сложность

заключается в том, чтобы не примешивать к воспоминаниям мои нынешние взгляды, это, поверьте, непросто. И не очень реально. Вильямс сказал: «Любые воспоминания - это всего лишь реминисценция прошедшей жизни». Воспроизведение, отголосок - говорится в одном из словарей. Насколько это может быть точным? Но я постараюсь.

Сразу же после войны сведения о бесконечных, разбросанных по Украине захоронениях зверски убитых евреев, в основном детей, женщин и стариков – если можно назвать захоронениями небрежно засыпанные рвы и ямы, – стали известны всем. А о мертвых либо хорошо, либо никак. Поэтому приличные люди не могли себе позволить варварство в виде открытого антисемитизма. Да и поклеп - евреи воевали в Ташкенте – был модным, пока не появились данные, что евреи занимают четвертое место по числу Героев Советского Союза, причем в абсолютных цифрах, не в процентах по отношению к своей численности. Но мы говорим о нормальных, приличных людях. К власти это понятие не относилось. Разгром антифашистского комитета касался всех евреев, что доказывал поток статей о безродных космополитах.

Это было время, когда советская власть делала все возможное, чтобы я и мне подобные чувствовали себя чужими, но мы внизу жили по своим законам. Мы изо всех сил, в основном подсознательно, старались, чтобы два мира – верхний и нижний пересекались только в случае крайней необходимости. Поэтому в школе у нас – внизу – не было практически никакого антагонизма. Мы были такими же, как все, и чувствовали себя довольно комфортно, насколько это было возможно в коммунальных квартирах, на нищенских зарплатах и в условиях сплошного дефицита. Но так жили все, в том числе Ивановы, Петровы и Сидоровы. Нет, внизу мы от них почти не отличались. А в классе тем более...

В то время еще было отдельное обучение, и я учился, соответственно, в средней мужской школе под каким-то – уже не помню каким - номером. Но от отсутствия облагораживающего женского влияния мы не очень страдали. Мне даже кажется, что цинизма в отношении секса, грубости и пошлости было меньше, чем у нынешних.

А еще мне кажется, в нас во многом осталось отношение к женщине как к чему-то загадочному и не очень доступному. Именно в нашем поколении. Может, в какой-то мере привитые с детства и юности предпочтения – я опять ссылаюсь на Фрейда – остаются на всю жизнь, а отдельное обучение создавало расстояние, которое всегда добавляет загадочности и романтики. Идеализировать Женщину наше поколение продолжает до сих пор, многие мои современники и в жизни, и в искусстве не устают во всеуслышание подчеркивать свою любовь, даже если нет уверенности в том, что все еще есть возможность чем-нибудь эти чувства подкрепить.

Для последующих поколений – обратите внимание – любовь к абстрактной Женщине, к женщине как таковой, тема уже не модная. Больше чувствуется усталость, недоверие, обиды... Во всяком случае романтическая составляющая не очень заметна.

Я не пытаюсь установить причинно-следственную связь. Просто некоторая параллель...

Возвращаюсь в школу. К выпускному десятому классу нас осталось немного – всего семнадцать учеников. А начинали в большой компании – было два больших четвертых класса, потом – в шестом - их слили в один. Народ рассасывался в ПТУ, в ремесленные, в техникумы... И так, нас осталось семнадцать, но это были те, которые хотели и могли учиться.

А проблемы нарастали. Во внешнем верхнем мире государственный антисемитизм усиливался – хотя, казалось бы, куда уж больше. И приближалось время, когда мы должны были из тихой школьной заводи, где все было знакомым и установившимся, вынырнуть на бурные просторы житейского моря. Мы догадывались, что стычки с преподавателями,

вызовы родителей в школу и прочие школьные неприятности в дальнейшем окажутся даже не цветочками. И в первую очередь это касалось евреев.

Мы знали, что на медаль еврею идти сложно, почти нереально, что в техникум, а тем более институт поступить тоже проблема. Знали, что в медин и консерваторию нашего брата вообще не берут. В мореходку с трудом. Все это мы знали, но не комплексовали, не обижались и не злились – так мне помнится. Мы в этом выросли, это было вроде природных условий, нечто от нас не зависящее.

Поступление в институт особая тема. На вступительных экзаменах резали евреев (слава Богу, в переносном смысле) без зазрения совести. Это был год смерти Сталина, и государственный антисемитизм, как написал в сочинении один мой знакомый отличник, «достиг вершины своего апогея». Но мне повезло, я поступил туда, куда хотел - в политехнический институт на факультет «станки и инструменты». Это было в какой-то степени исключение из правил. Многие мои друзья с пятой графой поступали два-три года, поступали не в тот институт или не на тот факультет, куда хотели. Это был очень тяжелый год, и мы снова полной мерой хлебнули чувство «чужого».

Итак, отношение властей к евреям становилось все хуже, а главное – даже не делались попытки это маскировать. И такое отношение к нам особенно впечатляло на фоне наверно главного лозунга советской власти – дружбы народов, о которой говорили не переставая. Правда, Сталин уже объяснял, что евреи не народ, но в стране громогласно дружили со всеми нациями...

С 1950 года началось дело врачей. В 1952-м – аресты. Продолжались ограничения на должности и профессии. К концу жизни Сталина пошли слухи, что нас будут переселять за Урал. Разве можно было этого не замечать? Замечали, но – что значит пропаганда, внушаемая нам с молоком матери - мы одновременно жили в двух ипостасях. Все всё знали и одновременно были искренне благодарны советской власти и лично дорогому вождю за наше счастливое детство, юность и за нашу будущую прекрасную жизнь...

У нас были пионерские лагеря, пионерские песни, детские спортивные школы, соревнования, самодеятельность – чего еще можно пожелать ребенку, юноше? Было действительно много общих занятий в отличие от тенденций сегодняшнего дня, успешно старающихся всех разобщить. И в конце концов, не мытьем так катаньем большинство желающих заканчивало институт. Именно в те времена зародилась дилемма многих евреев, вспоминая советское прошлое – массовое еврейское: «лично мне, - подчеркивая слово лично, – не на что было жаловаться». Да, государственный антисемитизм не очень часто приводил евреев к серьезным личным неприятностям, но всех унижал безусловно. А разве укоренившееся чувство унижения не беда для народа? Разве оно может пройти бесследно? Да, мы сознательно старались этого не замечать. Лошадям конюхи ставят шоры, мы это делали самостоятельно.

Наверно, были ребята, которые понимали сущность советской власти. Но их было очень мало, – я в этом уверен, – и они помалкивали. Большинство еврейских детей и молодежи старалось не отставать от всех в любви к социалистической Родине и в патриотизме. Это естественное - или противоестественное, но достаточно распространенное – желание людей, объявленных вторым сортом, быть святее Папы римского.

Я не сомневаюсь, что многие мои сверстники, прочитав эти строки, возмутятся и скажут, что они с самого детства все понимали и люто ненавидели Сталина и советскую власть. Но я им не поверю, и вам не советую. И добавлю - кстати сказать, желание быть святее Папы римского, воспитанное с детства, отличает наших евреев и в эмиграции. Национализм и агрессивность советских евреев в Израиле зашкаливает за общепринятые. Но я забегаю вперед.

Признаюсь честно, я был среди крайних патриотов, и был довольно долго. Из меня вполне мог бы получиться еврейский Павлик Морозов. Мама моя была умной женщиной. При этом подчеркну, прекрасно понимала все, что происходило в стране. Не нужно думать, что любому нормальному взрослому человеку понять это было просто. Сколько нормальных взрослых людей до сего дня этого не осознали и ходят под сталинскими знаменами...

Так вот, дома у мамы иной раз в разговоре прорывалось ее реальное отношение... ко всему. А я взвивался на дыбы:

- Не хочу слышать в доме антисоветчину. Если это будет продолжаться, я сам пойду и доложу кому следует!

Конечно, я даже не думал идти и говорить, но все равно это было ужасно. Я слышал однажды, как мама тихонько сказала отчиму:

- Какой-то гитлерюгенд растет.

Уже сегодня, издалека, я стараюсь понять, почему со мной такое произошло. Мои друзья, как я уже говорил, тоже не были борцами, но все-таки до такого идиотизма не доходили. И хочется оправдать себя хоть немного. Давайте попробую?

Может быть, три тяжелых года эвакуации, когда я был совершенно чужим в этом мире – мама и бабушка не в счет, – заставляли меня искать место, где я был бы таким, как все. Все любили советскую власть и дорогого вождя – а другого я не слышал, – значит, и я должен быть с ними.

Все эти иллюзии продолжались до конца школы и даже в институте, то есть до знаменитого доклада Хрущева. Вот ведь чудеса! Это были последние годы Сталина, вокруг бог знает что творилось! О фактическом терроре в стране начиная с дела врачей я уже говорил. Но даже у меня под носом, в моем классе евреям-твердым отличникам не только не дали золотой медали, но даже не делали секрета, что из-за национальности. Преподаватели говорили об этом не краснея, не шепотом, не под секретом, говорили, как о чем-то само собой разумеющемся. Сразу за экзаменами в школе следовало уже описанное поступление в институт. И тем не менее – не устаю удивляться себе – я продолжал оставаться верным ленинцем. Меня даже не смутило, что сразу же после начала семестра в институте была осуждена группа евреев (а дело врачей было в самом разгаре) – ячейка проклятого «джойнта», которая пыталась подорвать доверие еврейских студентов к советской власти. Все знали, что это чушь. Пуля просвистела мимо, просто следовало быть осторожнее и не болтать лишнего.

И чтобы добить вас окончательно – когда умер Сталин, я в числе других первокурсников стоял с черной повязкой в траурном карауле у портрета вождя, и в глазах моих были не фальшивые, а искренние слезы.

Полный идиот!

Оправдывает меня только то, что я недолго расстраивался после смерти вождя и учителя. В институте была такая интересная и насыщенная жизнь, что времени заглядывать наверх просто не хватало. Да и верха – спасибо им – понемножку, почти незаметно, уменьшали чувство страха, которое каждый, от мала до велика, в глубине души испытывал всегда. Там, наверху, кого-то реабилитировали, кого-то из органов наказали. Маленков, Булганин, Хрущев, Ворошилов – когда их много и они вроде бы на равных, не так страшно. Правда, оставался Берия – и это не давало расслабляться.

И все-таки после смерти Сталина произошел самый главный переворот в стране – исчезло или почти исчезло чувство парализующего страха. Внешне может это было не так заметно. Но внутренне это ощущал каждый. Особенно после ареста и, как официально говорилось, расстрела Берии и его подручных. Пошли реабилитации, закрыли дело врачей (еще при Берии), хотя борьба с безродными космополитами еще продолжалась. Наверху шла чехарда руководителей – новые фамилии, старые фамилии, опять антипартийные

группировки, но(!) уже без расстрелов. Это было принципиальное отличие, которое создавало иной климат в стране. Что-то похожее на серьезные перемены. Однако велика инерция запуганного насмерть общества – большинство пока еще не отдавало отчет, в какой стране мы жили до сих пор и в какой собираемся жить в дальнейшем. Мы ждали официального уведомления.

4. Моя перестройка

И наконец свершилось. В феврале 56 года – я был студентом четвертого курса - на XX съезде КПСС как гром среди ясного неба не иносказательно, а напрямую, с фактами и цифрами прозвучали разоблачения зверств Сталина. Для смягчения это называлось «О культе личности», с намеком на то, что она, личность, собственно говоря, во всем и виновата. Для меня это было потрясением, и больше всего – как ни странно – пострадало мое самолюбие. Какой я, оказывается, дурак, если мне для понимания совершенно очевидных вещей понадобилось официальное заявление сверху. До какой степени закомпостировано мое сознание общественным мнением. Я как человек разумный, значит, ничего не стою, если умудрился видеть только то изображение действительности, которое оказалось просто муляжом, грубой подделкой. Я прекрасно помню свои переживания, помню разговоры с друзьями. В первую очередь мне было стыдно за себя. Мало сказать, что доклад Хрущева «О культе личности» не только изменил мое отношение к советской власти, он кардинально и навсегда изменил всю мою архаичную – так я это теперь понимаю – систему взглядов. И главное, что я тогда понял, – нельзя бездумно доверять общественному мнению, мнению большинства. Оно чаще всего, даже как правило, бывает неверным, во всяком случае в тех странах, где я жил – в Советском Союзе и в не меньшей степени в Израиле. Мне кажется, что именно с этого момента я старался – и часто мне это удавалось – сам анализировать ситуацию, не поддаваясь общепринятым взглядам.

Должен сказать, это непросто. Даже наука утверждает, что как минимум 70% населения земного шара при всем желании не может вырваться из-под влияния общественного мнения, так устроена психология человека. А в странах, где информация контролируется сверху, – и подавно. Какое самое убедительное доказательство обычно приводится в споре? «Все так думают» – и других доводов не нужно.

Даже после потрясшего страну разоблачения Сталина и компании наше большинство вопреки элементарному здравому смыслу упорно не желало понять, что с нами произошло. Мнение большинства, эти наши «все так думают» проявляли чудеса наивности – не хочу применять более подходящих к случаю определений, не люблю неформальную лексику. «Все» с упорством, достойным лучшего применения, продолжали руками и ногами цепляться за свое страшное прошлое. А многие – посмотрите опросы и послушайте Проханова – продолжают это делать до сих пор.

Сначала «все» не переставали любить Ленина - «если бы Ленин был жив!». Потом «все» поддерживали Афганистан; пока нас там больно не побили - ведь поддерживали? Хотя многие сейчас будут отрицать. «А что, лучше, чтобы туда вошли американцы?» - это и было общественное мнение. Потом дружно поверили в социализм с человеческим лицом. И диссидентов, мне кажется, было мало в первую очередь потому, что большинство думало иначе. Большинство не считало - да и сейчас не считает – что власть Сталина ничем принципиально не отличается от власти Гитлера. Точно так же большинство в Израиле, особенно русскоязычное, не считает, что на территориях Палестины происходит откровенная циничная оккупация и поселенчество под прикрытием военной силы.

Мне кажется, что с тех самых пор, с далекого 1956 года я научился нелегкому и неблагодарному умению оценивать обстановку, абстрагируясь (в пределах возможного) от громкоголосого мнения «всех». Поэтому я ставлю себе в заслугу только одно - способность

иметь свое, лично свое мнение о вещах и событиях независимо от общепринятого. Это всегда и при любых ситуациях сложно. Даже сейчас, хотя есть огромное количество информации, но ее так много и она так противоречива, что в этом агрессивном шуме тянет зажмурить глаза и присоединиться к большинству. А в те далекие времена, о которых я вспоминаю, ситуация была прямо противоположной. До наступления «оттепели» докопаться до истины было совсем не просто. Доступа к независимой информации не было, а о самиздате, во всяком случае в Одессе, еще никто не слышал. «Вражеские голоса» тоже пока не были в моде. Все это пришло позже, в шестидесятых. Но я старался изо всех сил. Хотя для очистки совести должен признать, что главной движущей силой было все-таки не обостренное чувство справедливости – я не уверен, что оно есть у меня даже сейчас, – а уязвленное самолюбие. Как довольно неглупого человека – это я о себе! – удалось так долго водить за нос?

Но все относить за счет своего чутья не буду конечно, у меня появился учитель. Это был наш сосед по двору дядя Лева, яркий антисоветчик, в прошлом учитель физики, которого не посадили и не расстреляли только потому, что он был конченным алкашом. Он любил потолковать со мной, когда я поздно вечером возвращался домой. Рядом со входом в нашу квартиру было низенькое ограждение из камня-ракушечника, загораживающее спуск в подвал. В этом подвале и обитал дядя Лева. На ограждение он настелил доски и покрыл их куском ковра, кажется ковра - из-за многолетних наслоений фактура уже не просматривалась. До глубокой ночи он занимал этот пост, покидая его время от времени, только чтобы опохмелиться. Источники его доходов были неизвестны, говорили, что он приторговывает наркотой. Другие утверждали, что во время войны дядя Лева был связан с подпольем. Вполне возможно и то и другое, одно другому не противоречит, чего не бывает на свете.

Он пропил все, в его комнатке – я туда пару раз заходил, – насколько я помню, кроме тахты вообще ничего не было. Но память не пропил. Он и до казни Берии пытался меня, как он говорил, распропагандировать, но я только отмахивался. А затем, поняв, что в докладе Хрущева и в хриплом шепоте дяди Левы есть много общих цифр и фактов, стал прислушиваться.

Дядя Лева мне поведал о разделе Польши с Гитлером, об огромных количествах высланных и загубленных «кулаков». О реальной коллективизации, борьбе с предателями и вредителями. Я и верил и не верил – уж слишком астрономическими, не помещающимися в сознание были эти цифры. Позже, намного позже выяснилось, что он преуменьшал на порядок, и не на один – даже в его испитые мозги эти ужасы не вмещались. Он говорил о тысячах, десятках тысяч замученных жертв вперемешку с замученными палачами. Дядя Лева не мог себе представить, что счет идет не на тысячи, а на миллионы.

Ужас! Как такое могло быть? Как этого можно было не видеть или не замечать? Во что мы превратились, если привыкли к такой жизни, если ничему не удивлялись? Ну хорошо, страх заставлял нас все это терпеть, но как можно было в упор ничего не видеть? Это же какая-то умственная кастрация...

Я приходил в ужас и давал себе слово, что больше из меня сделать идиота никому не удастся. Мне кажется, я почти уверен, что с того времени независимые суждения о происходящем стали для меня нормой, иной раз даже вопреки моему желанию. Я твердо вошел в число не слишком уважаемого «меньшинства» и очень редко, буквально два-три раза в жизни, и то на короткое время, чувствовал себя морально сродни «большинству». Так было в Союзе, так было и в Израиле.

Не могу сказать, что такая позиция удобна. Эта способность – независимые суждения - является очень невыгодной и кроме неприятностей, иногда серьезных, никакой пользы человеку не приносит. Разве что гордость от сознания своей правоты и чувство исполненного долга, долга, который тебя, кстати, никто не просил брать на себя. Такое

поведение может быть полезно для человечества, но до него – человечества - еще попробуй дотянуться. А для личности это просто беда. Если ты один, если почти против всех, это не только морально, но и в чисто практическом, житейском смысле несчастье для тебя и твоих близких. Ты гордо со своим мнением торчишь, как гвоздь в ботинке. Не всегда это так трагично выглядит, как я описал, но всегда тянет за собой шлейф неприятностей. Даже близкие друзья на меня косились, считая, что я оригинальничая. На своем опыте могу утверждать - моральные разногласия с окружающими жизнь не облегчают. А чувство «чужого» усиливают. Почему ты не такой как «все»?

Я думаю, что те 70% несамостоятельно мыслящих, о которых говорит наука, не такие уж дураки. Они подсознательно, а некоторые вполне осознанно не хотят видеть то, что может поссорить их с окружающей действительностью. Не видят или не хотят видеть - это такая тонкая грань, которую даже психология не в силах рассмотреть. Этот вывод - мой вклад в науку.

На чем я остановился?

После доклада Хрущева все в стране пошло с известной всем последовательностью: оттепель, плавно перешедшая в волюнтаризм Хрущева, который в свою очередь сменился долгим периодом брежневского застоя. Потом краткий и путанный этап похорон следующих друг за другом в мир иной геронтологических вождей. И в этот период прошли мои самые лучшие и активные годы, так распорядилась судьба. Когда наступила перестройка, мне уже было пятьдесят четыре года. «Отцвели уж давно хризантемы в саду...» Ну, может, еще не так давно, может, еще не совсем отцвели, но что-то близко к этому.

5. От общего к частному

Я резко меняю тему и перехожу от общего к частному. А точнее к личному. И так уже наверно всех удивляет, почему я ничего или почти ничего не говорю о себе: как жил, что делал, кого любил. Но это воспоминания, а в них я хозяин. О чем-то хочется вспоминать, а о чем-то – ну совершенно никакого желания. Например, я же рассказал немного о школе, о соревнованиях, о талонах на питание на сборах, о самодеятельности. Об институте. А вот о нашей советской бытовухе вспоминать охоты нет. Да и вам, думаю, не интересно. Ничего особо светлого на память не приходит

Итак, наконец, о личном, о любви.

В этом смысле все началось в институте. В школе были только эпизоды – расстояние ощущалось. Одно дело сидеть вместе за партой, а другое – случайное уличное знакомство. Впрочем, об этом я уже рассказывал.

Имел ли я успех у женщин? Как честный человек, должен признаться, что очень и очень даже умеренный. Дело в том, что я знаю, что такое успех у женщин не понаслышке, я наблюдал этот успех лично довольно много лет.

У меня есть два друга, один друг детства, второй – юности. Они были из разных компаний. С каждым из них мне приходилось знакомиться с девушками, с женщинами – словом с противоположным полом – в корыстных целях. И каждый раз я, как и положено, добросовестно пытался произвести на дам впечатление. Но иллюзии, что в присутствии кого-нибудь из моих друзей это удастся, продолжались очень недолго. Спустя какое-то время меня уже в упор не замечали. Даже та, что похуже. Друзья мои были не выше меня, не красивее, даже не говорливее. Один был лысым, другой... Словом, люди как люди. Но в них было что-то, нам, мужчинам, незаметное. И должно было пройти много лет, чтобы я из телевидения и литературы понял – мужская сексуальность существует, она не меньше, чем знаменитая женская. И годы на эту сексуальность не влияют – по сей день в их присутствии ни на какой успех у женщин я не рассчитываю.

Но так как я не всегда был с ними, то и на мою долю кое-что перепало.

До пятого курса я вел довольно легкомысленный образ жизни, наверно компенсировал годы раздельного обучения. Были случайные встречи, с двумя однокурсницами я долгое время «официально дружил», и не только. Кто-то бросил меня, кого-то бросил я (а-ля «Медведь» Чехова). И так продолжалось почти пять лет. Я гордился тем, что прошел без повреждений самый опасный четвертый курс – почему-то традиционно именно на этом курсе заключается большинство студенческих браков. После этого брачующиеся, как правило к выпускным экзаменам, либо демонстрируют уже готовых детей, либо жены ходят с недвусмысленными животами. Я подозреваю, что часто такое происходило не только от пылких страстей, но и не без умысла – таким женатикам нередко давали свободный диплом, то есть не загоняли в солонки по назначению: устраивайся как хочешь и где хочешь. Хотя это была просто добрая воля деканатов, кажется четких указаний не было – просто традиция.

Я знаю добрый десяток друзей и просто знакомых, которые пошли по этому тернистому пути. Но меня пронесло.

Впрочем, пронесло – сказано неверно. У меня даже мыслей таких быть не могло. И хотя я совсем недавно говорил, что не хочу описывать житье-бытье нашей семьи в те послевоенные годы, придется к этой теме вернуться, иначе в дальнейшем не все будет понятно.

Мы вернулись в Одессу из эвакуации в 44 году, через месяц, чуть больше, после ее освобождения. Дом, где мы раньше жили, был разрушен, и женщине с ребенком – нам с мамой – дали комнату 18 квадратных метров на первом этаже, дверь прямо во двор. Две ступеньки. Даже воду первые годы носили из крана в нашем дворе. А туалет, увы, был на третьем. Ужасный туалет. Но первые годы мы все, включая маму, были молоды и приспособлялись к реальным обстоятельствам, помнили – недавно была война. Потом постепенно обживались. Устроили возле двери тамбур метра полтора на полтора. Провели в тамбур воду – там появился кран, металлическая раковина. Провели газ – рядом с раковиной небольшая плита. И еще у стенки, точнее до простенка двери оставалось место для ведра, закрытого на ночь плотной тряпкой. Утром мама его уносила до того, как я просыпался.

Мама работала в бухгалтерии, отчим (появился и отчим, неплохой, между прочим, мужик, хотя другом мне не стал) ремонтировал оборудование на обувной фабрике. Уровень жизни понятен. Одна комната, я сплю за шкафом, половина раскладушки вместе с ногами вылезает в комнату из укрытия. Масштабы себе представили? Так и жили до моего отъезда после окончания института. Счастье, что мы с этим как-то свыклись и не знали, что это ужасно, иначе – я смотрю издалека – каждый из нас должен был бы застрелиться. Или повеситься, что технически легче. А мама и отчим в этой комнате и примерно в тех же условиях жили до конца своих дней. Правда, добавилось очень необходимое новшество вместо ведра, закрытого тряпкой, – хитрый встроенный и легко демонтируемый унитаз без сливного бачка, сливать приходилось из ведра. Днем надевали на него ящик – кухня, совмещенная с туалетом, плохо смотрелась. Но не только в этом была проблема – мама опасалась санинспекции, это было незаконно, и не на каждый стук открывала дверь. Так и жила в страхе.

Возраст и больные ноги мамы давали знать о себе. В баню ходить ей стало трудно. Но тут повезло – в чем-то должно везти. Во дворе напротив нашей была трехкомнатная коммунальная квартира. Там жила некая Женя с мужем и ребенком в двух комнатах, в третьей старенькая соседка, имени не помню. В коммуналке была ванная и туалет.

Женя была грубоватая крашенная блондинка, довольно солидных форм – одесский стандарт того времени, – лет на шесть-семь старше меня. Муж ее был каким-то крупным торговым работником, наверно воровал. Женя тоже пристроилась директором маленького магазина на бойком месте, в нем были гастрономический и небольшой винный отделы –

хорошее сочетание. Деньги у наших торгашей водились, и когда старушка-соседка отдала богу душу, им (не бесплатно) выдали ордер на освободившуюся третью комнату.

Прошло еще немного времени, и муж решил, что с его деньгами можно найти девушку помоложе и посимпатичней, что он в конце концов и сделал. Таким образом Женя с ребенком стала владелицей трехкомнатной квартиры в центре города плюс солидный доход. Осталось найти подходящего жениха, чем она с энтузиазмом по вечерам и по ночам занималась. Но у нее был железный принцип – в дом на ночь мужиков не водить, ее сын этого видеть не должен. Разумное, но нелегкое решение.

Женя питала слабость к моей маме, называла ее Лилечкой, помогала, чем могла, в том числе дефицитом. А мама дежурила у нее, когда Женя отправлялась искать жениха. И днем частенько забегала покормить ее Юрика. А во время ночного дежурства принимала в ее ванной душ. Как бы она жила, если бы не Женя... Это была взаимопомощь, основанная на симпатии. Мама Женю жалела, говорила, что она женщина трудолюбивая, хорошая хозяйка и мать. И почти – для такой работы и такого образа жизни – малопьющая. Но не складывается...

- Я знаю свой пунктик, – объясняла Женя, – по моей конституции, - она имела в виду свою фигуру, - мне нужен муж лет сорок, сорок пять. Чтобы далеко не сбежал. Но шо делать, когда я люблю молодых, красивых и высоких. И шоб у них все работало. Ладно, пока потерплю. Какие наши годы...

Она «терпела», хотя очень боялась, особенно по ночам, «шо какой-то бандюган к нам залезет». Квартира на первом этаже, в то время решетки на окнах были не в моде; может потому, что у большинства на первых этажах красть было нечего. У Жени – определенно было. Но пока любовь к молодым и красивым брала верх, на мамино счастье. Больше всего мы все опасались, что соседка жениха все-таки найдет.

Отчим был еще молодцом и ходил в баню, я, естественно, в баню и на третий двор. К ночи все собирались на пяточке. Двое из нас храпели, один надевал наушники и до часу ночи слушал передачи классической музыки. Но даже наушники мешали кому-то спать – все было слишком близко.

Подвожу итог - никакой даже теоретической возможности создания своего очага в нашей квартире у меня не было. Даже в случае самой страшной необходимости, даже на самый короткий срок. Сознание этого было надежным средством от авантюры, но личной жизни не мешало. Только в несерьезном формате, без далеко идущих планов. Так продолжалось до пятого курса.

Первокурсницу Олю я отметил еще при первой встрече, в самом начале первого семестра пятого курса. Но в это время я с кем-то «официально встречался», и ее пару раз видел на улице с долговязым парнем. Иронически подумал: странная парочка – Оля была невысокого роста и едва доходила ему до плеча.

На институтском вечере по случаю Нового года – самый любимый советский праздник – был капустник, довольно удачный. И я принимал в нем участие. Потом за кулисами тоже «принимал» с другими артистами коньяк, по традиции из бумажных стаканчиков; впрочем, дозы были довольно умеренные – с этим было строго, - заедая запах зернами кофе. Короче, настроение было боевое. Я решил откровенно объясниться с последней «официальной подругой», давно нужно было это сделать. Объяснился и почувствовал себя свободным человеком. Начались танцы под наш институтский оркестр, известный в городе своим свободомыслием, который играл нерекомендованные, но возбуждающие западные джазовые мелодии. Вот тут, ободренный всеми только что описанными обстоятельствами, я решительно подошел к Оле, которая танцевала не со своим долговязым. Того вообще не было поблизости.

Я подошел к ней и пригласил танцевать еще до того, как оркестр начал играть новую мелодию. Это демонстрировало мои намерения – иду на «вы».

Не будет большим преувеличением сказать, что с этой минуты мы не расставались, во всяком случае мысленно. А при любой возможности и не только мысленно. Это было удивительно. Я ни с кем до сих пор не проводил так много времени. И мне это не надоедало. И кажется, я с первого дня понял, что это и есть любовь. А еще через неделю уже был полностью в этом уверен. Кто из нас первым произнес слово «любовь», я уже не помню, но оба с этим согласились. И отлично помню, как, задумавшись и очень серьезно, Оля сказала:

- Кажется, настоящая.

Пора вам ее представить. Начинать положено с внешности. В данном случае это непростая задача. Во-первых, много времени прошло, во-вторых, я видел ее и в солидном возрасте, а это сбивает. Но самая главная сложность в другом. Когда легко описывать внешние черты? Когда есть отклонения от идеала. Скажем, широкий рот, большой или маленький лоб, скулы выступают, ноги худощавые или полные. А если все в полной прекрасной пропорции – за что уцепиться? Или если кажется, что в ней все идеально, – а мне именно так и казалось и кажется до сих пор?..

Все-таки попробую. Она невысокого роста, но не настолько, чтобы казаться маленькой. Не полная, но хрупкой не выглядит. Стройная. Тонкая талия. Удлиненное лицо, на котором все на месте, очень красивые глаза, серо-зеленые, не знаю, какого оттенка больше. Ножки заслуживают отдельного разговора. Словом, как и ожидалось, не описание, а манная каша... Черные волосы с прической а-ля Одри Хепберн из «Римских каникул». Стоп! Выход найден – Оля слегка уменьшенная копия Одри Хепберн. Тот же тип и даже большое внешнее сходство. Женственная, красивая, совсем не пошло сексуальная, даже есть в ней что-то аристократическое, хотя, конечно, в значительно меньшей степени, чем у Одри. Но тут уж потолок слишком высок.

Я не знаю, удалось ли вам представить себе Олю, но мое отношение к ней это восторженное описание наверняка прояснило.

Она была девочка начитанная, но в этом не было ничего необычного. В то время большинство тех, кто считал себя интеллигенцией – и не только, – читали много, не в обиду нынешним будь сказано. Впрочем, можно и в обиду. Один мой товарищ сейчас преподает в одном одесском институте. Он плохо видит, и поэтому дает студентам некоторые тексты по теме лекции, чтобы они прочитали вслух. Задача не из легких. Мало кто на курсе может бегло прочитать текст – нет простого навыка чтения, особенно у девиц. Читают, как знаменитое «Маша мыла раму мылом». Пока домучают предложение до конца, все забывают, о чем речь шла в начале. У него есть для этой цели два-три чтеца, которым можно доверить такое сложное дело – прочесть с нормальной скоростью несколько предложений. Правда, это ВУЗ провинциальный, может в престижных иначе...

Но возвращаюсь к Оле. Ее начитанность иногда, правда, приобретала странные формы. Под настроение она могла выдать такую красивую фразу, длинную, цветистую, что я только диву давался. И насмешливо останавливал ее: «Друг мой Аркадий, не говори красиво». Помогало.

Были ли у нее другие недостатки? Конечно, как же без этого. Но насколько я помню, они были продолжением достоинств – так, кстати, довольно часто бывает в жизни.

Я говорил о некотором аристократизме во внешности, но в качестве черты характера в наших условиях применения этому аристократизму найтись не могло. Выглядело бы на рабоче-крестьянском советском фоне просто нелепо. И у Оли этот явный анахронизм принял форму своеобразной гордости. Не гордыни – она не была задавакой – а... как бы это лучше объяснить...

Она никого не обижала, была приятной и доброжелательной в общении. Но если кто-то грубо или нечестно с ней обходился, не по мелочи, а всерьез, так сказать сапогом в душу – а этого добра в нашей послевоенной жизни хватало на всех уровнях, – то она для себя этого человека просто вычеркивала из жизни. Не скандалила, не ставила на место – отходила в сторону. И никогда не прощала. Общение было вежливым, если его не удавалось избежать, и только. Я эту ее черту за мягкостью поведения оценил не сразу. И, скорее всего, вообще недооценил. Хотя мы с Олей часто обсуждали характеры друг друга. О моем, кстати, она вынесла такое мнение – избыток самолюбия и недостаток честолюбия. В верности этого суждения у меня в жизни было много возможностей убедиться.

Помню, тогда я уточнил, что хотя считается, что честолюбие и самолюбие две стороны одной медали, это не так. С точностью до наоборот. Честолюбие требует от человека добиться успеха, продвижения. А в наших советских условиях для этого нужно в первую очередь самолюбие спрятать в карман или даже, простите, заткнуть его как можно глубже... Помню, мы тогда дружно посмеялись. А между прочим зря – это святая истина. И не только на нашей бывшей родине. Но я опять забегаю вперед...

Я определенно – первый и, к сожалению, последний раз в жизни – был у нее под каблуком. Хотя внешне это так не выглядело. Оля не капризничала, не говорила: я хочу то и не хочу это. Стычек и даже мелких ссор между нами почти не было. Она с охотой соглашалась почти на все мои предложения. Но в том-то и дело: я изо всех сил старался предлагать то, что она захочет, и вести себя так, чтобы ей это нравилось. Конечно, я сознавал, что нахожусь у зеленой первокурсницы под каблуком, но мне это было по душе. И все это несмотря на институтские традиции, которые в чем-то напоминали армейскую дедовщину – старшекурсники смотрели на младших студентов сверху вниз, с основательной долей превосходства.

Я не представлял себе, что эти отношения могут когда-нибудь мне надоест, мне никогда – или почти никогда – не хотелось уйти в более интересное место, только вместе с ней. А понимали мы друг друга настолько, что, казалось, прожили вместе долгую жизнь. И удивительное дело – я совершенно не ревновал, хотя несмотря на мои уверения, что в Оле не было пошлой сексуальности, за ней вечно волочился шлейф самых отчаянных бабников. Значит, сексуальность все-таки была, но продолжаю настаивать, что не пошлая. И кроме того, мы тогда не знали, что это такое – сексуальность и с чем ее едят.

Итак, мы старались не разлучаться, насколько это было возможно. Но это было очень непросто даже при обоюдном желании. Деваться практически было некуда. В январе, феврале еще, к примеру, было холодно, в марте дождливо, по улицам не побродишь. Сидеть в кафе было не по карману, да и принято не было. Мужчины собирались в бадежках, кафе, винарнях; распивали пиво, вино, водку, общались на уровне «ты меня понимаешь, ты мне друг?». А парочки там не появлялись. О ресторанах и говорить нечего. Дома у нас – вы знаете – одна комната. Были мы с Олей у нас в гостях пару раз на праздники (кстати, мама была влюблена в нее не меньше, чем я). Ну, кино иногда, иногда театр. В непогоду приходилось обниматься в чужих парадных – своего парадного у меня не было, дверь моей комнаты-квартиры выходила прямо во двор. Правда, у Оли была своя комната, можно было бы там проводить время, но увы... Я к Оле был не вхож. Ее мама терпеть меня не могла в первую очередь потому, что была откровенной антисемиткой. И на это были свои веские причины, кроме обычных и довольно распространенных.

6. Йосик

Надежда Григорьевна Седенко – так величали Олину маму – была полной энергичной дамой, на чей-то вкус, может быть, даже привлекательной. Но на мой взгляд, у нее были слишком грубые и мясистые черты лица и небольшие, слишком близко расположенные, но

проницательные глазки. А в теле было слишком много всего. Словом, Оля пошла не в нее. Надежда Григорьевна была заведующей аптекой большого правительственного санатория, то есть человеком значительным. А место ее – как вы понимаете – золотое дно. Дефицитные лекарства – что может быть важнее в годы победившего социализма?

За двадцать лет до нашего с Олей знакомства она жила в Бурдынке, селе под Одессой. Там все были либо родня, либо сватья, либо дружбаны. Крепкое село и крепкие связи. Наде тогда было лет семнадцать, она заканчивала медицинское училище по профилю фармакология. Вполне можно было себе представить, что девица была кровь с молоком. Я видел ее фотографию того времени на пляже – свежие упругие формы с трудом влезали в купальник, из которого она явно выросла, наверно родители просто не успевали за бурным физическим развитием девочки. И лицо было молодое, свежее, будущие недостатки в таком возрасте, да еще при таком буйном цветении почти незаметны.

В это время к ее беде (а к моему счастью) в Бурдынке в качестве начальника почтового отделения появился Иосиф Мильштейн, известный всей Одессе под именем Йоська-бабник. Кстати сказать, с ним был близко знаком еще малопьющий в те времена дядя Лева (Одесса тогда действительно была городом, «где все друг друга знали»). Именно от него я в курсе подробностей, которые были неизвестны даже Оле.

Йосик был очень красивым мужчиной, признанным покорителем женских сердец. Это не фамильярность с моей стороны, называть Йосиком отца моей подруги, дело в том, что все без исключения близкие, просто знакомые и даже незнакомые называли его так. Я просто следую за правдой жизни.

Он вынужден был срочно переехать из Одессы в Бурдынку, потому что неожиданно для второго секретаря горкома забеременела его молодая жена. Но, впрочем, это были только сплетни.

Он действительно, говорят, был красивым парнем, но фотографии его, увы, не сохранилось. Потом поймете почему.

Было лето 1939 года. Как всегда отличная одесская погода. Бурдынка расположена прямо на морском берегу, и Йосик повадился каждое утро ходить на пляж делать зарядку. Он был отлично сложен и прилично накачан – тогда это было еще не принято, и сам Грегори Пек, раздевшись, вызывал сострадание. А Йосику даже сравнительно небольшой рост не мешал выглядеть сложенным, как молодой бог, так во всяком случае он о себе отзывался. И возможно, это не было преувеличением.

Вполне естественно, все молодые девушки Бурдынки стали дружно появляться чуть свет на пляже, сохраняя при этом совершенно безразличный вид, – утреннее солнце так полезно!

Мы уже знаем, что у Йосика сердце было не каменное. Короче говоря, в октябре Надя, рыдая, призналась родителям, что с ней что-то неладно.

Бурдынцы не особо жаловали евреев, но тут уже было не до нюансов. К Йосику явилась делегация здоровяков во главе с отцом Нади и сказали, что они не какой-то там секретарь горкома, причем второй. И если Йосик немедленно не женится, то ему оторвут голову. «И не только голову», - добавили они и уточнили, что именно. Выхода не было, еще через неделю состоялась не очень пышная свадьба.

Йосик, конечно, не мог с этим смириться, но он был просто легкомысленным повесой, а не каким-то там ужасным негодяем. Совесть у него все-таки была. Поэтому при первом же появлении в Одессе, почти тайном, он сказал дяде Лева:

- Лева, ты же понимаешь, шо мы с Надей не пара. Я из другой оперы. Меня силой заставили жениться.

- Но силой тебя на нее никто не укладывал.

- Это да, тут ты прав. И я не бессовестный человек, в конце концов. Не злодей. Я так решил: беременную жену я не брошу. Ребенок должен родиться здоровый. Я сделаю все,

чтобы было хорошо. Клянусь. А когда она кончит кормить ребенка грудью, я уйду. И никто меня не удержит.

Как ни странно, несмотря на свою репутацию, Йосик был человеком слова. Он в новой семье и в новом обществе вел себя довольно прилично, насколько ему и окружающим это удавалось – диссонанс все-таки чувствовался. И кроме того, известно, что благими намерениями дорога в ад выстлана. Йосику не всегда удавалось справиться со своей натурой, и слухи о его похождениях все-таки будоражили местное общество.

Дядя Лева рассказал мне одну из легенд бурдынского периода, он говорил, что сам Йосик признал ее правдой. Так как за ним всегда следили десятки глаз, то он додумался использовать море в личных интересах. Как-то он обучал плавать одну из наиболее пылких своих молодых поклонниц, недалеко от пляжа, чуть за мыском. Был май, погода теплая, но вода все еще была холодная. Такая мелочь пылких любителей купания не остановила. Они упорно тренировались. Если судить по позам учителя и ученицы, то обучались они одновременно нескольким способам плавания. Но вот ученица замерзла и выскочила на берег. К удивлению нескольких посетителей пляжа, наблюдавших урок издали, учитель остался в море и стал отчаянно нырять. Даже издали видно было, как он посинел, но упорно продолжал упражнения. Надо сказать, это самоистязание продолжалось так долго, что у наблюдателей появилось опасение трагического исхода.

Все уже сообразили, что во время учебы он потерял плавки, и коварное море их куда-то унесло. Все с интересом ожидали появления Йосика на берегу в чем мать родила и придвинулись поближе к мыску. Но на сей раз обошлось - он все-таки наконец нашел свои плавки. Последний раз присел в воду с головой, затем шатаясь и трясясь скорее выполз, чем вышел на берег. И сразу пошел в сельпо, где выдул пол-литра водки. Сенсации не получилось, но история, тем не менее, переросла в легенду.

28 июля 40-го года родилась Оля. На дне ее рождения было выпито много самогона, и фраза «хоть ты и еврей» с одобрителем подтекстом и похлопыванием по плечу повторялась очень часто.

Девочке дали фамилию и национальность матери. Йосик не возражал, понимал, что так при всех поворотах истории будет лучше. Как он относился к ребенку? Дядя Лева говорит – хорошо, Надежда Григорьевна - очень плохо, Оля, естественно, ничего не помнит. А все соседки дружно называли девочку «Надина евреечка», ласково так называли, сладенько. «Вот пошла Надя со своей евреечкой»...

Нельзя сказать, что Йосику это нравилось, но он старался без эксцесса дожидаться второй половины намеченного срока – ребенок должен быть здоровым. Но было тяжело.

Йосик часто по этому поводу плакался в жилетку дяде Лева. Дело в том, что Надя после родов располнела. Мало того, известно, что женщины именно после первых родов входят во вкус секса, а этим ее и с молодости бог не обидел. Такое сочетание - полнота и неутомимость – стали нагрузкой для Йосика. Желаний, которых по отношению к молодой жене у него и раньше было немного, теперь совсем не осталось, он держался на голой технике. Увиливал по любому поводу. Обстановка в доме накалялась. К счастью, молоко у мамыши кончилось, ребенок перешел на искусственное питание, и Йосик решил, что долг свой исполнил. Весной сорок первого года он объявил об уходе. Подал заявление на развод. Несколько раз был бит, но держался стойко. Любовь-ненависть, которая уже давно пылала в сердце его супруги, превратилась в чистую ненависть. Это был отчаянный позор для Бурдынки, такие казусы там случались редко. Ему было обещано, что целым из этого приключения не выйдет. Но оказалось, все страсти были напрасны. Развод был получен в начале июня, а 22 июня началась война. Йосик с облегчением одним из первых пошел добровольцем. Больше его никто не видел. Глупо вышло, мог бы уйти из семьи на фронт, чинно, благородно, и репутация Надежды бы не пострадала. Но кто, кроме Сталина, мог предвидеть такое развитие событий? Говорят, даже он был не в курсе дела...

Когда немцы стали приближаться к Одессе - произошло это почти мгновенно, – то остатки клана Седенко после мобилизации стали обсуждать, что делать дальше. Решили не эвакуироваться, но с Надей и ребенком был случай особый – Одесса не провинция, там было известно об отношении немцев к национальному вопросу. Кто-то из местных вполне мог заложить «евреечку» в случае оккупации. И решили – нужно ей с ребенком уезжать. Это было нетрудно – фармацевт был нужен в любом госпитале.

Ну, собственно и все о Надежде Григорьевне. После эвакуации она вернулась на сей раз в Одессу, а не в Бурдынку, вышла замуж за солидного человека из горисполкома, остальное вы примерно знаете.

Подвожу итог всей описанной выше истории – у Надежды Григорьевны были определенные личные мотивы не любить евреев. И меня в том числе. То есть не в том числе, а в первую очередь, как таящего непосредственную угрозу ее семье. Она была женщина прямая, если не сказать грубая, и все, что думала, говорила прямым текстом при каждой встрече со мной с перекошенным от злости лицом.

В этом случае мне просто лично не повезло. И нечего особенно пенять на антисемитизм. Такое стечение обстоятельств. Казалось бы.

Хотя, знаете, не совсем так. Ведь если бы легкомысленный отец Оли был, ну скажем, белорус, то она не набрасывалась бы на меня с таким остервенением только потому, что я тоже оказался белорусом. Или, скажем, если мы оба были бы литовцами... Нет, своя доля антисемитизма в этой истории все-таки есть.

7. За верблюдом

Я удивлялся – как можно даже не пытаться скрыть свою ненависть, если родная дочь полуеврейка? Правда, у матери был суровый и не слишком романтический характер, а дочь с каждым годом становилась все больше похожей на отца и вызывала не слишком приятные воспоминания. Отношения все-таки были сложные. Тоже двойные: любовь-раздражение. Понятно, любви было больше, и все-таки испытывать ее чувства на прочность я бы Оле не советовал. Надежда Григорьевна многое могла простить – но не меня в качестве супруга.

- Неужели ты не говорила ей, что недалеко от меня ушла?

- Конечно, именно об этом: «Мама, твоя дочь полуеврейка. А ты такое говоришь...»

- И что дальше?

- Дальше истерика. Криком кричит. «Н-е-е-т! Ты только моя дочь! Ты Седенко! Никакая ты не...» Ну, и следует такое, что повторять не стоит... Зациклилась. Мы на эти темы стараемся не говорить.

- И что будет?

- Она думает – дальше у тебя диплом, назначение на работу на три года куда-то. А потом... видно будет.

Не только она так думала. Мы с Олей все больше задумывались о будущем. Нужно было что-то решать...

Но нам было так хорошо, что портить сегодняшней день сомнительными мыслями о том, что произойдет еще не скоро – через три-четыре месяца, - не хотелось.

А узы, нас связывающие, между тем становились все крепче, хотя внешне, со стороны это выглядело не очень эффектно. Искры не сыпались. Я знаю, что многие влюбленные часто ссорятся, потом с еще большим пылом мирятся, это освежает чувства, придает новый импульс, как контрастный душ. Нам было на удивление удобно и привычно вдвоем - подогрев был не нужен.

Она знала, о чем я думаю, я знал, что сейчас у нее в мыслях. Мы иной раз отвечали на еще не высказанные вопросы. Какая-то телепатия. Потом смотрели друг на друга с удивлением и даже некоторым страхом. Кажется, мы действительно были кем-то свыше

предусмотрены друг для друга. Во всяком случае такие подозрения у меня появлялись. И вместе с ними опасные мысли. Если вместе так хорошо, если не надоедает, а становится все лучше и лучше, так может действительно не так страшен брак, как его малюют? Я старался ходу таким мыслям не давать, как каждый мужчина – мне так кажется – я боялся цепей. Брак - это клетка на всю жизнь, а вокруг еще столько соблазнов. И потом ей всего восемнадцать, а мне целых двадцать три. И впереди полная неизвестность; впрочем, известно только одно – долгая неустроенность. У родителей мы жить не можем, своя квартира - это наивная, нелепая мечта. Нищенская зарплата начинающего инженера не позволит Оле закончить учебу, если она поссорится с матерью. Надежда Григорьевна вопрос ставила прямо – я или он! Ей можно было верить на все сто процентов.

Словом, мы с Олей о будущем не говорили. Наслаждались настоящим.

Настоящее складывалось отлично с помощью природы. В апреле потеплело. Можно было гулять и сидеть на скамейках, а не ютиться по чужим парадным. Начиная с середины мая уже можно было купаться в море и загорать на чудном пляже Отрада. К тому же у нас была и работа – очень важная работа. У меня государственные экзамены, потом диплом, потом комиссия по распределению. У Оли тоже нелегкая весенняя сессия: именно при окончании первого курса шел основной отсев студентов – до тридцати процентов. Не шутка! Но Оля всегда была отличницей, я за нее не волновался. А вот она за меня очень волновалась, и даже за время моих экзаменов и диплома похудела. Когда я выходил после очередного зачета или экзамена, меня всегда встречала пара серо-зеленых горящих любящих глаз. Я сам себе тому молодому и счастливому до сих пор завидую.

Комиссия по распределению у нас проводилась достаточно честно и демократично, в этом вопросе я изменяю своим привычкам и обижаться на советскую власть не буду. Конечно, были заявки по блату, кого-то не очень справедливо оставили при институте, кстати и одного бездарного еврея при помощи некой «мохнатой руки». Но в основном все было вполне достойно. В комиссии принимал активное участие наш комсорг, отличный парень, вызывали строго по порядку в соответствии с суммой баллов. Два еврея-студента, толковые ребята, защищали проект по теме: «Новое в обработке твердых сплавов», и их персонально пригласили не просто в оборонку, а куда-то в святая святых - в Жуковское. А я получил назначение в город на берегу Волги в южной части Поволжья на завод нестандартного оборудования. Назовем этот город Саратовом, чисто условно. Город большой, поэтому и назначение считалось не из худших. Нет, в этот период национальные проблемы мне практически не досаждали, если не считать проблему Седенко на личном фронте.

Но вот нагрузки закончились, мы с Олей, слегка побледневшие и осунувшиеся, были наконец предоставлены сами себе.

Когда судьба расщедрится, дары начинают сыпаться как из мешка. На нас обрушился невероятный подарок – помещение, где мы могли без помех встречаться. А дело обстояло так.

В одной группе с Олей училась ее новая подружка Ада. Очень красивая и своеобразная, с загадочным восточным колоритом женщина. Она была года на три старше Оли и уже замужем. Муж ее был довольно известным, несмотря на относительно молодой возраст, художником. У него на набережной даже была своя мастерская. В этой мастерской вместе с картинами, запахом краски, каких-то масел, ацетона и прочего в уголке стоял столик, пару стульев и в довольно приличном состоянии широкая тахта. Даже небольшой холодильник «Саратов». Все это – прекрасно помню – скрывалось за большим полотном, на первом плане которого был гордый верблюд, а за ним бескрайняя песчаная пустыня и белесое небо.

В начале июня художник по направлению (и за деньги) Союза художников – при старом режиме деятелей искусства поддерживали, не в обиду нынешним властям будь

сказано, - уехал в Крым «на пленер» на все лето. И добросердечная Ада втайне от мужа отдала нам ключи от студии, тем более, что она тоже после окончания сессии последовала за ним. Словом, у нас появился свой дом, в котором мы могли хозяйничать сколько угодно и в любое время суток. Со столом и... тахтой. Наверно, нетрудно догадаться, к каким последствиям вскоре это привело.

Где-то на втором или третьем свидании Оля, глядя мне прямо в глаза, сказала:

- Боря, не стоит прятать голову в песок. Мы не страусы.

Немного помолчала, собралась с духом и продолжила:

- Я хочу, чтобы ты был у меня первым.

Опять помолчала и тише, но столь же уверенно закончила:

- ...и последним.

С моей стороны возражений не было.

Это не женский роман и не русский триллер, битком набитый всяким таким... потому позвольте мне эту тему считать закрытой. Могу добавить только, что наша с Олей близость еще обострила - если это было возможно – предчувствие близкого расставания. Расставания не навсегда – в это никто из нас не верил, – но надолго. О грядущей разлуке, как я уже упоминал, мы по молчаливому обоюдному согласию по-прежнему не говорили, не хотели спускаться с небес на землю. Но то, что мы в будущем останемся навсегда вместе, было ясно обоим.

К примеру, как-то зашел разговор о том, для чего человек рождается – обычное дело молодых, поиски смысла жизни... Я сказал, что еще не знаю и вряд ли когда узнаю... Я любил иной раз не только демонстрировать цинизм, но и бравировать им. А Оля этого терпеть не могла. В ответ она сказала:

- А я знаю. Я родилась, чтобы иметь трех любимых детей и одного любимого мужа. Разве этого мало?

И чтобы не оставалось сомнений насчет любимого мужа, она меня поцеловала. Впрочем, я и так в этом не сомневался.

И все-таки все точки над «i» были расставлены 25 июля - дату этого разговора я запомнил навсегда.

К этому времени близость, как мне кажется, внесла некоторые изменения в наши отношения. И это было неизбежно и вполне естественно. Знаете, как принято считать – женщина в таких случаях еще больше привязывается к другу, партнеру, а тем более к любимому. А этот самый друг, партнер и даже любимый, добившись «своего», начинает смотреть по сторонам. Конечно, у нас так не было. То есть я чувствовал, что Оля еще больше привязалась ко мне, что вечно дежурящий в ее душе «железный Феликс» то ли размягчился, то ли исчез насовсем. У нее даже иной раз глаза были на мокром месте, что раньше и представить себе было невозможно при всей ее мягкости и доброжелательности. А вот вторая половина расхожего мнения выглядела в нашем случае иначе – никуда по сторонам я не смотрел. Я был, как и прежде, уверен, что лучше, чем с Олей, мне ни с кем не будет (вот он юношеский максимализм!). И, между прочим, оказался полностью, на двести процентов прав. Но после случившегося я стал больше в ней уверен. Раньше у меня было, не буду скрывать, беспокойство – ей всего восемнадцать, уеду на год-два-три. Что там будет?.. А сейчас появились уверенность и самодовольные мысли типа: «Куда она теперь денется». Не в такой грубой форме, но не далеко от этого. Почему я говорю об этих переменах? Потому что без их влияния не обошлось.

Итак. Возвращаюсь в 25 июля 1957 года. Вечер. Мастерская художника.

Инициатива в нашем тандеме снова принадлежала Оле. Она привычно начала со страусов, которые прячут голову в песок.

Воспроизведу этот разговор насколько помню.

- Ты о моем отъезде?

- Да. Я не хочу, чтобы ты уезжал.

И глаза на мокром месте.

- Оленька, я не хочу еще больше, чем ты. С тобой расставаться, ехать черт знает куда и в какие условия.

Оля недовольно нахмурилась. Я понял и постарался выделить основное:

- Но, конечно, хуже всего, что мы не будем вместе. А что можно сделать? Нас не спрашивают.

- Ты даже не пробовал что-то сделать. Чтобы остаться.

- Оленька, милая, а что я мог сделать?

- Но Владик и Володя получили свободные дипломы.

- Что ты сравниваешь! Они с женами и детьми.

- А мы чем хуже? Что мешало нам?

Разговор приобретал очень серьезное направление.

- Ничего не мешало. Но сейчас...

- Даже сейчас. Сегодня только двадцать пятое число. Успеем подать заявление. Как раз остается месяц на обдумывание...

Оля замолчала, и хоть слово «пожениться» и не было сказано, это было по существу официальное предложение руки и сердца.

Нужно было быть очень осторожным. Любой ответ, который был бы, не дай бог, воспринят как отказ, мог навсегда разрушить наши отношения. Конечно, нужно было начинать с согласия.

- Оленька, милая. Я только этого и хочу. Мы должны быть вместе. Ты это прекрасно знаешь. Конечно, нужно расписаться. Но...

- А вот и «но»...

- Ты сама все понимаешь. Это не поможет нам сейчас быть вместе, а навредить может. Если мы любим друг друга, тождемся.

- Если?..

- Да, если. Тогдаждемся, пока я вернусь. И штамп тут ни при чем. Мы и так муж и жена. Со штампом или без.

Оля печально улыбнулась.

- Где-то я уже это слышала.

Я заторопился:

- Да, знаю, так в книгах, да и в жизни говорят те, кто не хочет жениться. Но это не тот случай. Я очень хочу...

- Хочешь, - опять саркастическая улыбка, - но потом, позже.

- Да, потому что это ничего не изменит. Ты сама понимаешь... Скажут, женился накануне отъезда. Кого это колышет? Смешно. А зато тебе этот штамп аукнется. Твоя мать в лучшем случае тебя живьем съест. Или из дома выгонит.

Оля не ответила. Только головой кивнула. И неожиданно для меня всхлипнула:

- А я бы тебе девочку родила...

Я от неожиданности опешил и глупо спросил:

- Почему девочку?

- Ну мальчика. Как получилось бы. Ты бы тогда оттуда смог отпроситься... Может быть... Я хочу, чтобы мы были вместе. Вот Владик и Володя...

Я не знал, что ответить. Месяца действительно могло хватить, чтобы не только расписаться, но и постараться насчет девочки или мальчика. И может через год-другой меня отпустят. Или даже раньше. Но дальше что? Я знал как минимум еще с десятков ребят, которые получили на этих условиях открытые дипломы и рыскали по городу в поисках хоть какой-то работы. Но главное другое – они все, абсолютно все жили у родителей. Других

вариантов не было. Владик с женой и ребенком спали в проходной комнатке, бывшем коридоре. А в бывшей гостиной жили родители со старшей сестрой, которая из-за этого не могла выйти замуж. И мимо них все ночами бродили в неглиже в туалет.

Я услышал, как Оля продолжила вслух – наша внутренняя связь работала отлично:

- Да, знаю, Володина семья живет в одной комнате с тещей в многокоммунальной квартире. Ни в ванную, ни в туалет не прорвешься. И комната маленькая.

- Но хорошо, что муж тещи недавно умер, и они смогли пожениться, - это уже был черный юмор. И я продолжил подводить итоги: – Все, кого я знаю, примерно так и живут. В основном с родителями, да еще с бабушкой или дедушкой, часто в одной комнате, за перегородками или шкафами.

Кстати, могу добавить для читателей, что мои знакомые жили так еще немало лет - строительство хрущевок дошло до нас только к середине шестидесятых.

- Зато вместе.

Я решил быть более жестким. Пора было делать выводы из разговора.

- А мы и этого не сможем. У тебя жить невозможно, ведь так? Дойдет до смертоубийства.

Оля снова молча кивнула головой.

- У нас комната 18 метров, но главное не это. Туалет во дворе. Нет ни душа, ни ванны. Только кран с раковиной и электроплитка. Там мы жить не сможем. Тем более если с ребенком. Ведь так? Некрасиво звучит, но ночью, в холод, если бывает невтерпеж, я одеваюсь и иду в замерзший грязный туалет в конце двора. Далеко иду. – И я, чтобы хоть немного разрядить обстановку, неожиданно для Оли запел: – «Сквозь снег и ветер. И звезд ночной полет...»

Картинка была неприятная, но она произвела впечатление на Олю. И на вас, надеюсь. Примерно так жили многие, если не большинство. Таким был стиль жизни народа – не его высших эшелонов. А ведь уже прошло 12 лет после войны. Да, это нелегко себе представить. Кстати, этот обычай жить в куче трем, а то и четверем поколениям мы вывезли и в эмиграцию. Но здесь хоть не все в одной комнате.

Оля совсем растерянно сказала, слезы снова на глазах:

- Так что же делать?

- Потерпеть. Я постараюсь оттуда слинять, ты кончай... точнее начинай институт. Тебе еще сколько учиться? Начать и кончить. – Я чувствовал себя опытным и повидавшим виды стариком. - Я вернусь, устроюсь, поищем что-то подешевле на съем. Если любишь, надо уметь ждать. Люди не кошки, можно потерпеть, если нужно.

Последнюю фразу мне говорить не стоило, но я тогда даже не подозревал о том, что в действительности происходит.

Слезы на глазах у Оли на удивление быстро, мгновенно высохли. Лицо стало совершенно спокойным. И я почувствовал, что телепатия между нами отключена. А может, мне это просто показалось?

Оля сказала что-то вроде – да, наверно ты прав.

К этому разговору мы больше не возвращались.

Наша жизнь ни в чем не изменилась, хотя иной раз мне казалось, что Оля думает о чем-то таком, чего я не могу услышать. Раньше этого не было. Определенно в нашей связи появились шумы и помехи.

Может быть, думал я, причиной некоторой кажущейся отстраненности Оли стало еще одно подтверждение моей правоты. Виной тому была ближайшая школьная Олина подруга – со второго класса! - Маша Ключева. В фильмах о довоенной молодежи часто встречаются такие персонажи - комсомольские лидеры, честные, прямые как столб, битком набитые идеалами. Маша училась в педагогическом институте – самое место для таких взглядов - и тоже, как и в школе, была комсоргом, кажется курса. Она, правда, в последние годы стала

помягче, пыталась разобраться что к чему, но... старая закваска нет-нет да и давала о себе знать. Этой Маше не очень нравилось моральное падение подруги, и однажды ее черт дернул рассказать Надежде Григорьевне о нашем гнездышке за верблюдом в пустыне. Из благих соображений.

Что там у Ольги дома происходило – я только могу догадываться. Она несколько дней была не в себе, побледнела, снова похудела, хотя до этого я гордился тем, - за верблюдом она заметно расцвела, все это говорили. О домашних баталиях просила не расспрашивать. Иногда мастерскую – явно со слов мамы - называла «наш притон» и однажды, невесело усмехаясь, сообщила:

- Я сказала, что считаю себя твоей женой и мы распишемся.

- И что в ответ?

- Я пополнила свой неформальный словарный запас.

- А по сути?

- Было сказано, что если это произойдет, то мне даже не стоит подходить к дому на пушечный выстрел.

- Ну, вот видишь. И что дальше?

- Ждем, когда ты уедешь, там видно будет.

Но это не было для меня новостью. Меня удивило другое. Помните, я чуть раньше говорил о твердости довольно мягкого на первый взгляд Олиного характера? И на этот раз была отличная иллюстрация тому – многолетняя подруга Маша, которая каялась, просила прощения, говорила, что хотела как лучше, которая очень переживала, была вычеркнута раз и навсегда из жизни Оли. Ни обид, ни скандалов, просто Оля ее в упор не видела, хотя все было довольно вежливо по форме. Это было впечатляюще. Если была необходимость, Оля отвечала несколькими словами, но дежурно-вежливыми. Было полное впечатление, что она этого человека никогда в жизни не видела и видит впервые, если видит вообще. Я подумал, что наверно еще многого не знаю о характере моей Оли. Впрочем, это не удивительно. Пуд соли мы с ней вместе еще не съели. Пока мы только – помните такую песню – «сладки ягоды рвали вместе».

Но ни Надежда Григорьевна, ни Маша не смогли серьезно испортить праздник, который продолжался уже восемь месяцев, а последние три месяца превратился просто в сказку. И я искренне верил, что мы проявим мудрость и терпение и сможем превратить это в сказку всей жизни. Но даже тогда понимал, что как бы в дальнейшем не повернулась моя судьба, я уже не имею право обижаться на нее из-за того, что мне будто бы выпало слишком мало счастья. Знаете, как иногда говорят синоптики – за несколько дней ливней выпала годовая норма осадков. Так и на мою долю за восемь месяцев выпало столько радости, что другому хватило бы на всю жизнь. Так во всяком случае я думал тогда, так думаю и сейчас.

8. Первый блин комом

Словом, 30 августа на аэродроме меня провожали мама и Оля – отчим был на работе. Друзей я попросил не приходить на аэродром – не хотел, чтобы они видели, как я раскисаю. И действительно раскис. Мама и Оля тоже заплакали.

Самолет Ил-12 унес меня из старой жизни в новую, неизвестную и совершенно нежеланную. Но что делать, нужно было уметь подчиняться обстоятельствам, надеясь на лучшее, чему я так уверенно обучал Олю.

Прямого рейса не было, пришлось делать пересадку в Москве. Короче, в условный Саратов я прилетел где-то в полночь. В романах часто пишут «город встретил меня теплым солнечным днем» или «город встретил меня хмурой дождливой погодой», возможны варианты. Меня город никак не встречал, ему до меня дела не было. И на встречу с ним

ехать на ночь глядя тоже смысла не имело. То, что свободных номеров в гостиницах условного Саратова, точно так же как в любом городе Союза, нет и быть не может, проверять не стоило – это было известно априори. И я как можно удобнее уселся в кресло в зале ожидания.

Десяти часов, в течение которых я добирался из Одессы в условный Саратов, мне с избытком хватило на то, чтобы вспомнить детство, юность и зрелые (так я тогда считал, смешно) годы, потосковать об Оле, попытаться представить себе новую жизнь. Это была большая нагрузка в дополнение к напряжению при полете – я слегка побаивался летать. Душа требовала перемены темы. И я, на ночь глядя, решил заняться политикой.

А нужно сказать, несмотря на то, что политика все время пыталась заняться мной, я ей не отвечал взаимностью. В институтские годы я старался - и мне это почти удавалось - даже газет не читать. Новости слушал вполуха, и то только потому, что мама не любила, когда выключали радио, оно должно было талдычить с утра и до вечера. Теперь под лампой в полупустом зале ожидания условно-саратовского аэропорта – нужно признать довольно невзрачного - я решил компенсировать этот пробел. Благо в Москве я купил несколько центральных газет, плюс рядом на скамье лежала «Саратовская (условно) правда», а в сумке свежая «Одесская» и тоже «правда». И хотя нас с детства учили, что правда бывает только одна, но вот они передо мной, самые разнообразные - саратовская, одесская и наконец «Правда» высшей инстанции - из Москвы. Боюсь, что не первый острою на эту тему, и если это так – простите.

Просмотрев первые страницы газет, я вынужден был признать, что нас все-таки учили правильно - правда во всем, что касалось общесоюзных и мировых проблем, по сути оставалась одна, точнее она была одинаковой. Во всех газетах. Слово в слово. И если в московской писали об израильской военщине, то во всех остальных «правдах» помельче на первой странице было то же самое. И почти в каждой был портрет этой военщины в каске, из-под которой традиционно высовывался крупный нос с волосками, торчащими из ноздрей. Я подумал: «А какой нос у самого Бориса Ефимова?», и невольно пощупал свой. Не маленький, но намного меньше, чем на обличительной карикатуре.

Примерно это я имел в виду, когда говорил, что политика не оставляла меня в покое. Не меня лично, а всех мне подобных. Мы – с точки зрения официоза – все время должны были чувствовать себя сбоку припеку. Я уже перечислял: то дело врачей, то борьба с безродными космополитами – кандидаты все те же, то кровавая рука «Джойнта», причем вместо руки на первой странице все тот же носатый прототип. После заглохшего дела врачей в ход пошли анекдоты про то, как в позорной израильской армии Хаим и Мойша – как и следовало ожидать – празднуют труса и все продают. Инициатором, естественно, был официоз.

Так было до 1956 года, до победной для Израиля Синайской кампании, которую было трудно не признать. Газеты захлебывались от обвинений в вероломном и неспровоцированном нападении на Египет, но нас это не очень огорчало. И мы радовались – разумеется, про себя – поражению Героя Советского Союза Насера, что было достаточно непатриотично. Мало того, мы – евреи – довольно-таки единодушно не поверили официальной прессе, что нападение произошло без серьезных на то оснований. Вряд ли без причины армия, которая в пятнадцать раз малочисленнее и в два раза менее оснащенная – шепотом сообщали мы друг другу услышанные кем-то сведения – станет нападать. То есть определенно намечался раскол.

И если до этого нас пресса пыталась связать – хоть и не напрямую - в сознании людей с вероломной и трусливой еврейской израильской армией, то после 56-го года мы уже сами стали себя отождествлять с евреями-победителями. Между прочим, без особых заслуг с нашей стороны. Последствия вполне объяснимы. Если тебе доказывают, что ты хуже других, а потом оказывается, что вроде бы не хуже, то по контрасту начинает казаться... Да,

у многих молодых евреев моего поколения (о других не сужу) именно тогда стала возникать навязчивая идея национального – не религиозного, как у верующих, а именно национального - превосходства. Или в еврейском варианте избранности. Из грязи в князи. И началось со скромной убежденности, что евреи очень умный народ. В массе своей. От рождения. А значит, и ты хоть каким-то боком к этому тоже причастен. Если все, значит и ты.

Я и тогда был противником этих на первый взгляд невинных идей, и сейчас еще больше далек от них. Я не понимаю, как можно стыдиться своей национальности, но точно так же не понимаю, как можно ею гордиться. Короче, я не принимал и не принимаю националистов любой модификации. Своих и чужих в равной – да, пожалуй, в равной! – степени.

Я – мне кажется – не поддался соблазну национального высокомерия, но, увы, еврейской мнительности и чрезмерной обидчивости избежать так и не удалось. В чем вам еще предстоит убедиться, если вы продолжите чтение этих воспоминаний.

Вряд ли я в августе 1957 года, сидя в условно-саратовском аэропорту, думал точно так, как написано выше, но похожими мои рассуждения определенно были. Была ли от них польза? Одна была определенно – меня стало клонить ко сну. Я благополучно проспал до самого утра, несмотря на не очень удобную позу в довольно жестком кресле – вот она молодость! Почему помню этот, казалось бы, не слишком важный факт – проснувшись, страшно обрадовался, что вещи не украли. Это можно было считать хорошим предзнаменованием, потому что служащие аэропорта предупреждали – в условном Саратове пили и воровали.

На завод нестандартного оборудования рано утром я поехал в такси. Тогда такси еще было не роскошью, а средством передвижения. Стоила поездка не очень дорого, зато поймать «зеленый огонек» было непросто.

Мои первые впечатления от города были далеки от восторженных. Одесса, безусловно казалась мне на голову солидней и красивей. За довольно короткий период жизни в условном Саратове я не сумел с ним толком познакомиться, а за долгие годы, прошедшие после этого, успел позабыть и то, что знал. Кстати, я еще и поэтому не называю места, о которых пишу, – не считаю нужным подробно рыться в памяти и справочниках, не хочу позволить вам уличить меня в неточности и ошибках. Меньше оснований для критики из-за мелочей, зато больше оснований для возражений по существу.

Город выглядел достаточно провинциально, хотя населения было больше полумиллиона. Новое строительство в глаза не бросалось, может его и вовсе не было, или почти не было. Иной раз попадались более-менее новые административные начальственные блоки улучшенного казарменного типа. Что было заметно: там, где недавно (или давно) что-то ремонтировали, все оставалось неубранным - песок, остатки кирпичей, даже иной раз старые инструменты. Везде – на дорогах, возле домов, во дворах. Поэтому в городе вечно гулял ветер с пылью. Это первое впечатление меня не обмануло – целый год я наблюдал антисанитарию, общегородскую неаккуратность, а уж в местах общепита и на прилавках продуктовых магазинов особенно. Правда, хочу предупредить, что может быть, предвзято отношусь к условному Саратову, но вы потом поймете, что основания для этого у меня были.

И раз уже я начал говорить о городе, прежде чем познакомить вас с местом моей первой работы, то немного продолжу эту тему.

Что я слышал о Поволжье? Что вы слышали?

Холера в Поволжье. Помощь голодающим Поволжья. И все в таком духе.

Я так и не мог понять, почему этот, казалось бы, вполне приличный край на берегу большой красивой реки, да и земли вокруг вроде бы не очень бедные, так жестоко наказан Богом или кем-то там еще. Но в том, что все эти мрачные слухи имеют под собой реальную почву, я убедился довольно быстро. В Одессе в те годы изобилия не было, но все же жить было можно, хоть и трудно. На рынке все дорого, но зато часто были мясо и рыба, только вставать следовало пораньше. Летом – овощи, фрукты. В магазинах можно было встретить вполне приличную одесскую или краковскую колбасу (мы их с восторгом вспоминаем по сей день). Конечно, за всем нужно было погоняться, но без трофеев домой родители не возвращались.

А в условном Саратове... очень плохо было, даже с хлебом, хотя не так далеко была целина. Почему туда не доходили продукты, почему, несмотря на Волгу под боком, не хватало воды, чтобы помыть толком хотя бы продукты и руки, – нет, я объяснений этому не нашел. Мне, несемейному одиночке, приходилось пользоваться общепитом, грызть мослы, горькие от пережаренного триста раз масла, есть борщ, который без горчицы не лез в глотку. Говорят, что небольшая продолжительность жизни мужского населения в России была из-за пьянства. Я думаю, что в не меньшей степени от адского изобретения – советского общепита, который способен покалечить любой, даже луженый желудок. А если все это еще приправлено антисанитарией... но об этом чуть позже.

Все, тепер о заводе. Он был не большой и не маленький, средний, может чуть поменьше среднего. Изготавливал всякую всячину, которую другие более солидные заводы делать не хотели – транспортеры, разное вспомогательное оборудование, иногда даже автоматическое, краны-люльки для работы на высоте, которые прикреплялись к машинам. И прочее и прочее. А кстати сказать, в этом городе были и солидные оборонные заводы, которые делали очень серьезные вещи, но с моим отчеством туда не пускали.

Завод был расположен на окраине, вокруг маленькие домики деревенского типа. И рабочие тоже в основном были того же типа. Меня принял главный инженер с довольно сиплым (может, после вчерашнего?) голосом и слегка помятым лицом. Он сказал, что я назначен начальником станочного участка. Начальник – это звучит гордо! Сказал, что мест в общежитии нет, и наверно это к лучшему (позже я убедился, что он прав). Что мне сняли полкомнаты у бабки по улице Островского, дом 26 (чудеса памяти, номер дома и улицу запомнил, а как зовут главного инженера – хоть убей). Впоследствии он оказался неплохим мужиком, хотя голос и помятый вид не лгали – вчерашнее было довольно регулярно. Главный послал меня сразу к бабке, устроиться и отоспаться, что подтверждало его приличные человеческие качества. Но оказалось, дело не только в этом – я пришел 31 августа, а это – как в большинстве советских предприятий – конец месяца и пик штурмовщины. Всем в этот день было не до меня. Я безропотно отправился искать свое новое жилище. Нашел. Это был неказистый небольшой домик, угол его принадлежал моей хозяйке.

У этой бабки за печкой – это называлось полкомнаты - я и прожил тот год, который мне был высшими силами отведен для условного Саратова. Все было бы ничего, мы с бабкой ладили, но она, старая, все время мерзла, а на моей половине не было окна. Интересно: дверь была – отдельный вход из коридора, а на окно места не хватило – только форточка наверху на улицу для «проветривания». Бабка даже летом тайно топила, а я изнывал от жары. За перегородкой и печкой были широченные полаты вместо кровати (почти стихи!), но правда, с мягкой бабкиной периной. И еще оставалось со стороны двери место для большой табуретки – в качестве стола, и двух табуреток поменьше в качестве... ну да, в качестве табуреток. Когда ко мне приходили новые друзья – о них чуть позже - играть в преферанс, то я сидел на полатах. В таких случаях открывали дверь в коридор - чтобы не задохнуться. Лампочка свисала в центре комнаты. А под полатами лежал чемодан

в роли платяного шкафа. Эта моя квартира была лучшим доказательством того, что в условном Саратове я надолго не задержусь.

Я уже признавался, что немного помню из той эпопеи. Но фамилию начальника механического цеха, куда входил станочный участок, я запомнил легко и навсегда. Вы не поверите, но его фамилия была Хлопуша. Кто помнит «Капитанскую дочку»? Суровый был мужик Хлопуша, и мой начальник цеха ему мало уступал. Даже внешне был похож - приземистый, широкоплечий и лицо немного рябое, правда ноздри целые, не вырванные, как у соратника Пугачева. А уж выражение лица, когда он смотрел на меня... Мне время от времени казалось, что он действительно отрежет мне уши, во всяком случае не сомневаюсь, что такое желание у него не раз возникало. Впрочем, и я давал для этого немало поводов.

Станочный участок был неплохой, оборудование - на любой вкус. Станки токарные, фрезерные, строгальные, шлифовальные, даже в отдельных кабинках два координатно-расточных. Вот начальник ему попался неважный - это я о себе. Увы, первый блин, как и положено, комом.

В то утро, когда Хлопуша - напомним, было первое число - привел меня в цех, там слонялось человек десять невыспавшихся рабочих и ни один станок пока не работал. Мы сначала прошли в маленькую контору, выгороженную из цеха. Рядом другая выгородка - мое рабочее место, можно сказать кабинет. В конторе пока было только два сотрудника, технолог и нормировщица. Остальные в отгулах. Технолог был из «наших», видно по печальным глазам - это и был один из моих будущих друзей Додик. Пусть он меня простит, если жив, но его фамилию я забыл. Многосложная фамилия.

Потом мы вышли в центральный проход цеха, Хлопуша крикнул, чтобы все, кто еще жив, подошли к нам - благо в цехе было тихо. Он представил меня собравшимся:

- Ваш новый начальник участка Поляков Борис, - он немного затормозил, - Михайлович.

Я не возразил, принимаю презрение героев-патриотов. Но думаю, сделал правильно. Все и так знали, кто я, незачем было выпендриваться. Так с тех пор и остался Михайловичем. Я знаю многих Михайловичей такого происхождения и не очень их виню. Это, как правило, ничего не скрывает, но облегчает общение. Правда, мой новый друг Додик, он же Давид Наумович, не стал называться, скажем, Дмитрием Николаевичем, но это была бы слишком сложная манипуляция. Как у кого получается, это не принципиально...

А Хлопуша подумал, подумал и указал пальцем на большой плакат на стене «Штурмовщине - бой!»:

- Такого при тебе быть не должно!

Я не удержался и спросил, глядя на маленькую кучку работяг:

- А до меня было можно?

Хлопуша тоже хотел что-то сказать в ответ, но, спасибо ему, удержался, повернулся и ушел.

Он был, в сущности, не очень злым человеком, просто, как говорят в Украине, затурканным. Но меня невзлюбил за одесскую привычку острить и еврейскую привычку отвечать вопросом на вопрос. А главное, за то, что я оказался плохим начальником участка.

Но насчет штурмовщины Хлопуша явно перегнул. Это было невыполнимое требование. Не было такого производства, где бы в конце месяца, квартала, года обходилось без аврала. Пока была советская власть, при ней была и штурмовщина. После того как советская власть отдала богу душу, сами собой исчезли и авралы на производстве. Это было профессиональное тяжелое хроническое заболевание противоестественной системы. Есть, конечно, объяснения тому всяких экономистов, политэкономистов, психологов. Но на мой взгляд, в этом свойстве нашего государства было что-то мистическое. Нелогичное. Никому это не было выгодно. Ни рабочим, ни начальству, ни

организациям. И все-таки первую половину месяца не было заготовок, инструмента; даже чертежи, уже год готовые, попадали в цеха с большим опозданием. Зачем заведомо устраивать свистопляску? Никто на этом больше не зарабатывал. Халтуры было в спешке больше, но она тоже никому не была нужна, ее и так было выше крыши. Мне кажется, что объяснить эту аномалию просто невозможно.

Но если бы только дело было в том, что я не справился со штурмовщиной. Я вообще мало с чем справлялся, и авторитет мой был немногим выше нуля. Если я просил – меня не слушали, если пытался кричать – могли послать подальше. Наверно, я никак не мог найти подходящий тон, отношения с рабочими не налаживались, а без них на участке делать было нечего. Играла ли в этом роль моя национальность? Если да, то в самой малой степени. Мой товарищ Додик, толковый технолог, лет на пять старше меня, пользовался очевидным уважением в цехе. Нет, на пятую графу я ссылаться не буду.

Может, я начал плохо? Дело в том, что у меня первые два-три месяца были личные неприятности, и мне было просто не до работы. Может, в дальнейшем мнение обо мне уже сложилось и исправить его было сложно? Но потом, когда с личными неприятностями все окончательно определилось, я добросовестно пытался что-то изменить к лучшему. Даже иногда появлялись и результаты. Может, времени на это не хватило? Но самое реальное объяснение – я не подходил для этой должности и для этой работы. Менеджер из меня не получался.

9. О вреде и пользе алкоголя

А личные неприятности, о которых я только что упоминал, начались почти сразу же после приезда. Как было условлено, я утром в аэропорту отправил две телеграммы о благополучном прибытии. Одна короткая маме. А другая, пространная на главпочтамт Оле. Мы с ней договорились, что вся связь будет проходить через главпочтамт. Благо он был в полутора кварталах от института. Маму я в телеграмме не просил ни о чем, а Оле намекал в неявном виде на ответ и тоже телеграммой. Два дня бегал на свой главпочтамт, который был где-то у черта на куличках. Потом сообразил телеграфировать ей свой адрес, в конце короткой телеграммы уже было обиженное: «Если не трудно, телеграфируй получение адреса». Ждал дома. Иногда для надежности забегал на телеграф. Ничего не выждал и не выбегал. Решил дожидаться письма. Сам я ей – как и обещал – отправил послание через день после приезда. Чтобы доказать вам (и ей) серьезность моих чувств, признаюсь – написал его в стихах, чего раньше никогда не делал. То есть я пописывал шуточные куплеты для капустников в школе и институте, но никогда даже мыслей не было заняться поэзией. Я считал, и считаю по сей день, что проверка настоящего поэта – серьезное любовное стихотворение. На рифмованные шуточки способны многие, и я в том числе. Но когда я пытался сострять что-то серьезное о любви, сразу получалась патока. Я не строил иллюзий на этот счет даже в школе и понимал, что поэт из меня получится еще хуже, чем начальник участка. Но тем не менее, каюсь, написал письмо в стихах. Что чувство делает с человеком! Даже помню начальные строки:

Шесть утра, в окне рассвет...
Здравствуй, Оленька родная!
Обещанье выполняю,
И из ссылки шлю привет.

В это ж самое мгновенье
Мне явилось вдохновенье,
И тот час в уме само

Вот такие нехитрые строки... Поэзия не помогла, ни ответа, ни привета. Я всерьез забеспокоился, занервничал. Начал – должен признаться – с ревнивых мыслей, потом главным стало опасение, что что-то случилось. Потом ненадолго успокоился мыслью, что их отправили на помидоры, как и бывало обычно в то время. Но и с помидоров можно чиркнуть что-нибудь. Я даже не представлял себе, что могу так расстроиться и испугаться. На работе я забывал, куда шел, часто отвечал невпопад, все распоряжения начальства мгновенно вылетали у меня из головы, и постепенно стало складываться мнение обо мне как о не совсем вменяемом человеке, каковым я в тот период в действительности и являлся. Я рассказал о своих проблемах Додику, с которым довольно быстро сошелся. Болтливость мне не свойственна, я человек относительно замкнутый, скорее – как сейчас принято говорить – интроверт. Но я испытывал физическую необходимость с кем-то поделиться, чтобы не взорваться. Додик был уже год как разведен, имел опыт в этих делах, он добросовестно стыдил меня и предлагал прекратить истерику:

- Из-за бабы, тьфу. Они для этого созданы, чтобы нас обманывать...

Помогало, но ненадолго.

Дней через десять я пошел на запасной вариант – так было договорено – прислал срочный вызов на переговоры по маминему адресу для Ольги Седенко. Ждать, пока вызов дойдет, пришлось пять дней. Мне казалось, я начал сесть. И стыдно за себя было, и ничего поделаться не мог. Откуда у меня взялся при всем моем скептицизме и ироничности такой темперамент – сам удивляюсь.

На переговоры пришла... мама. Она не стала меня успокаивать, а прямо сказала, что Ольга у нее ни разу не была. Что пару дней тому она встретила ее на улице, Ольга очень вежливо улыбнулась, поздоровалась и... прошла мимо. Мы еще немного поговорили с мамой, хотя мне это давалось нелегко. Она посоветовала взять себя в руки. Я гордо сказал: «О чем речь!»

Все стало понятно, то есть точнее, результат стал понятен. Я перебирал мысленно все, чем мог ее обидеть. Отсоветовал выходить за меня замуж? Так временно и для ее пользы. Нет, Оля не так ограничена, чтобы обижаться на это. А если обижается, то это просто ужасно с ее стороны. Это хуже, чем мешанство, – это глупость. Какой ей смысл в дурацком штампе, если мы на расстоянии? Нет, она не настолько глупа. Причина в другом – она меня не любила. Это нужно признать и понять. Ей не нужен инженеришка в тмутаракани, не стоит из-за него терять годы и возможности. И ее мама под боком со своими теориями...

Мы с Додиком провели несколько пьянок на эту тему. У каждого были основания высказать женскому полу все, что мы о нем думаем. Мы высказывались от души. Правда, после этого на следующий день болела голова, и вдобавок обо мне стало складываться мнение, как о пьющем бездельнике в дополнение к общей неполноценности. А еще стали опасаться, что я спаиваю отличного работника Давида Наумовича.

Нужно было срочно брать себя в руки. Я заставил вести себя как мужчина, перестал писать обличительные и обвинительные письма безответному главпочтамту и попытался привести себя в норму. Но странно, на дне подсознания все-таки шевелилась надежда, что моя первая и сильная – теперь я это отчетливо сознавал – любовь не должна так банально и пошло окончиться. Без причины. Все-таки причина должна быть.

Так прошел месяц, чуть больше. И я решил сделать еще один шаг, последний. У меня был телефон Олиной подруги и нашей благодетельницы Ады. Я набрался мужества, выпил грамм двести водки для храбрости (как бы это не вошло в привычку!) и вечером ей позвонил с центральной переговорной станции. Она оказалась дома.

У людей, связанных с искусством, не только сейчас, но и тогда был богатый лексикон. Ада много общалась с богемой, поэтому после того, как я ей представился, то получил

большой пакет определений, из которых могу опубликовать только «дерьмо вонючее» и «подонок». Если бы не стакан водки, на этом разговор бы и закончился, моя обидчивость и нетерпимость наверняка взяли бы верх. Но водка придала мне определенную заторможенность вместе с настойчивостью.

Я сказал, что полностью с ней согласен, и добавил в свой адрес еще несколько названий, из которых не могу из соображений цензуры привести ни одного. Это ее озадачило, поэтому разговор продолжился.

- Я понимаю, что во всем виноват. Но не знаю, что случилось. Ведь что-то случилось? Что-то не так?

- Ты что, совсем обалдел, - она сказала не «обалдел». - Ты хоть знаешь, что ее аборт чудом кончился благополучно. Хотя какой там благополучно. Ужасно кончился.

- Аборт? - я совсем перестал соображать. - Какой аборт?

- Ты ничего не знаешь?

У меня все поплыло перед глазами...

- Пстой, Оля жива? Хотя погоди... Мама ее на днях видела. Ада, будь человеком. Расскажи толком, что случилось. Оля молчит, и я не знаю, что и думать.

Наверно, в моем голосе был такой перепуг, что Ада решила быть человеком.

И сдерживаясь изо всех сил, сказала, чтобы я перестал выпендриваться - было другое слово, не «выпендриваться» - и делать вид, что не знаю об аборте Оли.

- Ты не знал, что она беременна?

- Ни сном, ни духом.

- Значит, не заслужил.

Я совсем пал духом.

- Да, наверное. Но может, она узнала после того, как я уехал?

- Совсем обалдел. Когда ты уехал, уже было больше двух месяцев.

Я вспомнил ее предложение руки и сердца, «рожу девочку». Боже мой, как я мог быть таким идиотом... и эгоистом... другой бы на моем месте...

- Было почти три месяца, врачи не хотели за это браться. Если бы не ее мама, ты знаешь ее маму. Это танк. Она на врачей надавила.

- Я убью эту сволочь, - вслух сказали двести грамм водки во мне. И были правы.

- Боря, у нее началось кровотечение. Еле остановили. Но Боря...

Я знал, что это еще не конец.

- Боря, она не сможет больше иметь детей.

Хорошо, что я выпил, я смог заплакать пьяными слезами, но даже они принесли облегчение... «Рожу тебе девочку», «Рождена, чтобы иметь трех любимых детей»...

Дальше я в разговоре почти не участвовал. Ада сказала, что Оля меня видеть не хочет и не захочет никогда.

- Ты ее знаешь!

Да, я ее знал и в данном случае понимал.

На обратном пути из центральной телефонной станции домой я зашел в магазин и купил пол-литру и банку каких-то консервов. Зашел к удивленной бабке - пить одному было выше сил, - где почти прикончил содержимое бутылки и банки, отлив четверть стакана хозяйке - та потребляла. В ответ собутыльница презентовала мне на закуску соленые грибочки и выслушала жалобы на несчастную жизнь. Потом ушел к себе, захватив остатки выпивки и закуску. Под эти остатки до глубокой ночи я составлял трезвый и отлично продуманный план. Слово трезвый написал без кавычек, потому что план был действительно единственно возможным в этой ситуации.

На следующий день я смог прийти на завод только часам к одиннадцати, и причины опоздания были налицо. Додик услышал мои новости в сокращенном варианте и сказал, что

способ бороться с неприятностями у меня чисто русский. Потом сказал, что Хлопуша ждет меня не дожидется. Я пощупал уши и пошел к начальнику цеха. Тот посмотрел на меня с отвращением и сказал, что говорить больше нам не о чем.

- Шел бы ты... к главному инженеру.

Этот вариант был предусмотрен в моем трезвом плане.

По-моему, главный тоже был после вчерашнего, поэтому, мне кажется, перегара не почувствовал.

Я не стал дожидаться разноса, а с места в карьер сказал, что вчера узнал о смерти моего единственного ребенка. Это было зерном моего плана. Полуложь, полуправда. Чувства мои были искренними, не притворными – и все в сумме произвело впечатление.

- Так ты вроде не женат.

- Мы должны были пожениться. А теперь...

Я уверяю вас, не играл, говорил то, что думал, а некоторые оформление и усиление после перепоя только придавали драматизма. Короче, я сказал, что мое поведение на заводе было следствием проблем, с каждым может случиться... Мне кажется, главный меня понимал лучше других.

У меня было два отгула за аврал в конце прошлого месяца, я пообещал следующий аврал дневать и ночевать на заводе, работать не покладая рук. Но сейчас я должен быть там, с нею – главный понимающе покивал головой. Я попросил еще три отгула и авансом получку за этот месяц. Еще раз обещал отработать верой и правдой, если мне окажут доверие и понимание.

Словом, если бы не последствия ночного составления плана, я бы все это так блестяще не провел, самомнение и самолюбие были все-таки ослаблены непривычными дозами.

Короче говоря, вечером следующего дня я приземлился в Одессе и даже забыл телеграммой предупредить маму. Но удивить ее мне не удалось, она сказала, что ожидала моего появления.

Мой рассказ ее потряс.

- Бедная девочка... Бедная девочка... Но ведь ты ни о чем не знал?

- Абсолютно. Только позавчера вечером узнал... И в мыслях не было.

Мама с невольным облегчением вздохнула – хорошо, что я не толкнул Олю на этот шаг. И – я заметил – тут же испытала неловкость от этих мыслей. На глазах показались слезы.

- Бедная девочка...

Ночью, когда я ворочался на своей койке за шкафом, в темноте до меня доносились ее вздохи. Она тоже не спала.

- Бедная девочка... Бедная девочка... - и через некоторое время снова: - Бедная девочка... Бедная девочка...

10. Потерянный рай

Я подошел к институту к концу второй пары. Зашел в вестибюль, нашел расписание занятий Олиной группы. Две общих пары и практические занятия. Еще час ждать. Решил не уходить со своего поста напротив главного входа, а вдруг отпустят раньше. Пристроился на парапет у здания напротив – скамеек вблизи не было. Очень волновался, словами не передать. Во рту пересохло. Но уходить за водой не решался.

Оля появилась через час, тогда, когда и было положено. Шла вместе с Адой, что было вовсе ни к чему. Я не двигался с места, и когда Оля посмотрела в мою сторону, помахал рукой. Вся сцена стоит у меня перед глазами до сих пор.

Оля тоже махнула мне рукой, попрощалась с Адой, которая тоже увидела меня и с явной охотой удалилась. Оля подошла ко мне, спокойно, неторопливо, приятно улыбаясь.

Я отметил, что она стала еще красивей, точнее понял, что до сих пор по-настоящему не понимал, насколько она хороша. Я боялся, что перенесенные страдания, реальная близость смерти, утраченные надежды наложат свой отпечаток. Должно в человеке что-то измениться от этого даже во внешности. Изменения были с моей точки зрения только в одном – лицо ее немного побледнело и... стало более одухотворенным. Я иначе, менее выпренно не могу это определить. Теперь сознавать себя мудрым старцем, как это было накануне отъезда, давать свысока ей советы – даже мысль об этом была нелепостью. Оля перешла на другой уровень, и я это признал немедленно и безоговорочно...

Да, Оля приветливо улыбнулась, и я по привычке потянулся поцеловать ее в щечку, но она протянула мне руку – что-то новенькое. Я почувствовал себя в роли так и не прощенной Маши Ключевой, собственно этого я и боялся.

- Здравствуй, Боря. Какими судьбами ты тут оказался?

Это было слишком. Я проворчал:

- А то ты не знаешь, почему я тут... Пойдем, посидим на набережной. Поговорим.

- Пойдем, - и она украдкой, так чтобы меня не обидеть, посмотрела на часы. Куда-то торопилась.

Я не обиделся, я очень расстроился. Бульвар был в нескольких метрах от института. Ближайшая свободная от бабушек с внуками скамейка была почти напротив студии, где за верблюдом стояла тахта. Я искоса посмотрел на Олю – она совершенно не реагировала на исторические для нас обоих места, я бы заметил. Никакой реакции, ни плохой, ни хорошей. Она вырезала все, что касалось нас двоих, – я начал в этом убеждаться. Чего в эту минуту просила моя душа? Обнять, погоревать вместе, сказать, что я тоже потерял ребенка, что я всегда и во всем с ней. Но тебя в этот момент очень спокойно спрашивают:

- Как там тебе живется? Как устроился?

Это был холодный, отрезвляющий душ.

Я после этого не то чтобы успокоился, но во всяком случае взял себя в руки – эту операцию последний месяц мне приходилось проделывать часто.

- Оля, об этом позже. Я хотел у тебя кое о чем спросить.

- Да, пожалуйста. Конечно.

Ну, знаете ли, «пожалуйста, конечно»...

- Почему ты мне ни о чем не сказала?

После этих слов Оля проявила хоть какое-то участие в разговоре, раньше она была просто соседкой по скамейке.

- Я тебе обо всем рассказала. Даже больше, чем обо всем. Просто ты этого не слышал. А может, слышать не захотел, - она немного поколебалась и добавила: - нет, все-таки не слышал.

Я посмотрел на нее с таким изумлением, что она, явно с неохотой, продолжила:

- Боря, я не думаю, что имеет смысл продолжать разговор.

Изумление на моем лице, наверно, сменилось таким выражением, что Оля вздохнула и подвела итог:

- Поезд ушел, зачем что-то объяснять? И ты все равно не поймешь. Боря, ты так устроен. Ты неглупый, неплохой парень...

- Спасибо, - пробурчал я.

- Но часто не можешь понять и услышать других. В этом смысле ты какой-то тугоухий. Ты не хочешь обидеть, хочешь как лучше, но часто попадаешь в диссонанс. Не назло, так ты устроен. Тебя нужно очень любить, чтобы не раздражаться тем, что ты не можешь понять простых, очевидных вещей.

- Оля! Вот те раз! Я больше всего ценил, что мы всегда понимали друг друга, без слов. Я был в этом уверен.

- Знаю. И знаю, что ты искренне хотел сделать хорошо, но так уж устроен, - она в третий раз повторила это определение, которое я успел возненавидеть. – Сам того не замечая.

- Ну хорошо, объясни, чтобы я мог понять...

С равнодушно-безнадежным видом Оля продолжила:

- Ладно. Ты меня хорошо знал?

- Думал, что хорошо...

- Я тебе предложила расписаться. Ты подумал почему? Вместо того чтобы читать пошлую мораль... Я лучше тебя знала, что меня дома ждет. Как можно было не понять, что для такого предложения нужна причина? И еще какая! Боря, я тебе прямым текстом сказала, что родила бы тебе девочку. Нужно быть не тугоухим, а просто глухим. Как пень. А что ты сказал в ответ? Что люди не кошки... А я оказалась кошкой...

- Допустим, я такой, - с обидой сказал я, - тупой. Но ты тоже... Ведь на твоём месте любая сказала бы, что она беременна. Без всяких сложностей. И мы бы расписались.

- Да, «как честный человек». Я не хотела, чтобы ты женился на мне под дулом пистолета. Ты сколько раз мне говорил, что парень, который женится «как честный человек», не может быть счастлив. Ему будет всегда казаться, что его заставили. Говорил? Надо было просто расписаться. Боря, если бы мы расписались, я бы ничего и никого не испугалась, родила бы, хоть конец света бы наступал. И тебя бы ни о чем не спрашивала. Никакой Армагеддон меня бы не остановил. Но принести в подоле, на радость маме...

Она замолчала и, наверно, первый раз за разговор не скользнула по мне взглядом, а внимательно посмотрела в глаза.

- Боря, а ты уверен, что не посоветовал бы тогда... сделать то же самое. Ну, не вслух, а про себя?

Помню, я тогда очень бурно возмутился тому, что она могла такое предположить. Настолько бурно, что даже сам засомневался в истине. Я не хочу считать себя плохим человеком, это никому не приятно, но до сих пор не знаю правдивого ответа на этот простой и вполне естественный вопрос Оли. Хотя время от времени задаю себе его всю жизнь. Но в тот момент я просто кипел от нахлынувших чувств. Здесь были и любовь, и какая-то щемящая жалость, и еще что-то, замешанное на чувстве вины.

- Оля, я тебя любил и люблю. Оля, я жить без тебя не могу. Оля, это был наш с тобой ребенок.

- Для меня единственный...

Она сказала это так спокойно и безразлично, что я ужаснулся.

- Оленька, милая моя, мы усыновим...

Она взглянула на меня с таким же спокойствием и безразличием.

- Боря, я не хочу тебя мучить и продолжать бесполезные разговоры. Поезд действительно уже ушел, - затем подумав, добавила: – и даже рельсы разобраны. У меня в душе все, что было связано с тобой, откололось и исчезло без остатка. Там пусто. И я ничего не могу изменить.

Я уже отмечал, что она под настроение умела говорить красиво и даже афористично. И все ее поведение убеждало, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Она меня действительно в упор не видела.

Я понял, что это конец. Мы посидели молча, недолго, минут пять-десять. Она снова мельком взглянула на часы, поднялась. Сказала, скользнув по мне взглядом:

– Ну, пока. Маме привет.

Так говорят знакомому, случайно встреченному на улице.

И ушла. Очень красивая. Я остался сидеть недалеко от студии, где был гордый верблюд в пустыне и мой потерянный рай. Я тоже себя чувствовал верблюдом в бескрайней

пустыне, но не гордым. Гордиться было нечем. Можно было возвращаться в условный Саратов.

Не могу объяснить почему, но именно тогда, на скамейке, у меня появилось предчувствие, что это погиб, не родившись, мой единственный ребенок. Что в этом смысле – к сожалению, только в этом – у нас с Олей одна судьба. Предчувствие оказалось почти пророческим...

Мама спросила меня, видел ли я Олю, состоялся ли у нас разговор. Я ответил, что мы виделись. А насчет разговора... поговорили примерно так, как они с Олей при последней встрече. Мама поняла и больше вопросов не задавала.

Делать в Одессе больше было нечего. Рейс с посадкой в условном Саратове был дважды в неделю, и следующую ночь я провел уже не дома за шкафом, а у бабки за печкой. Я сэкономил два отгула, а время в самолете провел с пользой для разбора собственных полетов.

Скорей всего в том, что говорила мне Оля о тугоухости, была сермяжная правда. Я имею в виду какую-то органическую, не зависящую от моего желания нечувствительность к настроениям и желаниям других, в первую очередь близких мне людей. Заложенную в моем характере, мне кажется, на генетическом уровне. Почему-то – конечно не всегда, но подозрительно часто – люди, которые любили меня, которых я любил, вроде бы беспричинно раздражались. Обижались на меня. Мне было искренне непонятно почему. Если Оля права, то я действительно был если еще не совсем глухим в этом смысле, то тугоухим наверняка. Наверно, я говорил, когда хотели помолчать, острил, когда хотели теплого слова. Уходил, когда хотели, чтобы я остался, и приходил, когда не ждали. Мог, совершенно того не желая, обидеть невзначай. Да, честно говоря, я уже много лет понимаю, что действительно плохо настраиваюсь на чужую волну. А сделать в этом смысле могу немного. Вероятно, Оля права – я таким создан.

И все-таки я постарался облегчить свою совесть, что было не лишним, особенно когда мы попали при посадке в сильный грозовой фронт. Я линию защиты строил примерно так. Как в каждой подобной истории и в нашей тоже – есть две стороны медали. Для облегчения чувства вины я попробовал подойти с другой стороны. Хорошо, я толстокожий эгоист, бревно бесчувственное (хотя что в этом может быть хорошего, но допустим). Я не понял очевидных вещей. Но ведь не понял, а не сделал это с тайным умыслом. А Оля все решила и выполнила совершенно сознательно. Она обдуманно не посоветовалась со мной. Из чувства гордости. Девичьей чести. А последствия переживаем мы оба – я тоже страдаю, меньше или больше ее, об этом только Бог может судить. В таких случаях виновны обе стороны, и мы с Олей живое тому подтверждение. Я понимал, что тяжеленный шок был причиной такого изменения отношения ко мне. Но не только. И характер. Вечное давление ее матери не могло пройти бесследно. Действие в конце концов становится равно противодействию. Тоже не очень легкое для общежития свойство...

Но была и третья сторона медали. Отнюдь не ребро. То, что ни от меня, ни от Оли не зависело – мы были всего лишь винтиками нашего государства. Или пешками. От нас не зависели наши передвижения по клеточкам, мы не могли жить там, где хотелось и было нужно для счастья. Пред родиной вечно в долгу. От нас действительно не так уж много зависело.

В таком варианте размышлений мне было легче, хотя ненамного. Но нужно было привыкать, приспособливаться жить с тем, что произошло. Жить без Оли.

11. Жизнь продолжается

В условный Саратов я прилетел в пятницу к вечеру. Тогда еще была шестидневная рабочая неделя, поэтому пришлось выйти на работу с утра в субботу. Выражение лица у меня совершенно естественным образом было достаточно скорбным, поэтому никто из начальства меня ни о чем не спрашивал. Проявлял тактичность даже Додик.

Я его пригласил «на тризну», посчитал, что такое определение будет не циничным и соответствовать ситуации. Мы пошли в ресторан, который именовали между собой «придворным», - он был в трех кварталах от завода. «Придворный» был заведением средней паршивости, но лучше и дороже, чем заводская столовая.

Там, за двумястами граммами водки и довольно сносным бризолом – во всяком случае яйцо было натуральным, насчет фарша не решаюсь утверждать, - я рассказал все, что произошло, и поделился теми рассуждениями, о которых вы уже знаете.

Мнение Додика было простым и однозначным – женщины все делают и решают сами и исключительно к своей выгоде. И в завершение фраза а-ля «Карфаген должен быть разрушен»:

- Они для этого созданы, чтобы нас обманывать.

Пришлось взять еще двести...

Но второй тайм мы провели с большей пользой. Во-первых, я твердо обещал Додику и себе раз и навсегда перестать скулить, это не мужское дело. А во-вторых, мы дружно решили прекратить русский способ завивать горе веревочкой. Мы не давали обет трезвости, но обязались придерживаться разумных рамок. И я должен с гордостью заявить, что в основном оба решения были выполнены.

Это не значит, что я перестал страдать, но ведь я обещал не скулить, а это другое дело. Внешне почти ничего не было заметно.

Моя жизнь на заводе постепенно налаживалась. Не могу сказать, что меня сильно зауважали, но во всяком случае не так презирали, как раньше, даже Хлопуша. А я старался. Стал приходить раньше всех, а уходить позже. Толку от это было чуть – только шугал уборщиц, заставлял убирать лучше, и из свинарника в душевой и раздевалке постепенно получалось что-то терпимое. Даже мы с Додиком стали там мыться без особого отвращения. И на рабочих это произвело впечатление, хотя им и раньше было неплохо. Что еще... Я пытался пробивать поступление заготовок к началу месяца, но это были заведомо бессмысленные потуги. Зато сам факт попыток ставился мне в плюс. Собственно, на этом мои производственные успехи заканчивались.

Дома я читал. Записался в районную библиотеку, стоял в очереди за толстыми журналами, присоединился к миллионам читающим всей страной одно и то же. Очередь за номером «Иностранной литературы» или, скажем, «Нового мира» даже в глубинке была как минимум месяц.

А кроме чтения я нашел для себя еще одно неплохое занятие. Мы – я имею в виду Додика и себя – подружились еще с одним молодым человеком, тоже года на три старше меня и тоже из обиженного поколения. Нет, не еврея, на евреях свет клином не сошелся, обижали в СССР и других. Национальность его станет вам понятной, когда я назову фамилию – Гете, ни больше и ни меньше, в этом смысле он переплюнул Хлопушу. Андрей Гете. В начале войны его с родителями, как и многих немцев Поволжья, переселили в Алма-Ату. Там он закончил институт и попросил назначения в родные места. За ним следом переехали и родители, хоть в те времена это было нелегко. А Додик был местным и тоже жил с родителями. Один я был в условном Саратове на правах сироты.

Додик был невысокий, смуглый, полноватый польский еврей. Я повыше, почти на полголовы, постройнее и посветлее, еврей литовский (была такая градация среди евреев, звучало на идише так - «пойлыше» и «литвыше»). А Андрей был высокий (тоже почти на полголовы выше меня), худощавый и слегка рыжеватый. Похож на киношного немца. «Юный фриц, любимец мамин», было тогда в моде такое стихотворение Маршака. Но

парень толковый, и я бы даже сказал, с каким-то налетом аристократизма, во всяком случае по отношению к окружающей среде.

Контрастная внешне была компания. Но нам нравилось. Любимой нашей остротой было – «в одну шеренгу по росту становись!».

Андрей свободно читал и говорил по-немецки, наверно готов был при первой возможности уехать в Германию. Обожал своего однофамильца и заставил меня прочесть «Фауста», что было непросто. Высокая поэзия чем-то напоминала глубокую философию. Я до сих пор уверен, что «Так сказал Заратустра» Ницше куда легче для понимания, чем полный текст «Фауста» Гете.

Но самое ценное качество Андрея – он умел играть в преферанс. И мы регулярно, по субботам до полночи с удовольствием проводили время за картами у меня за бабкиной печкой. А иногда и в среду. Покупалась четвертинка коньяка (была тогда и такая расфасовка), а в качестве закуски шоколадка – это уже благотворное влияние Андрея.

После получки, а иногда и аванса, мы шли в «придворный» ресторан, где упорно заказывали бризоль – все остальное было не очень съедобно – разумеется, в сопровождении горячительного.

Наша холостая жизнь с Додиком вам известна. А Андрей встречался с молодой сотрудницей планового отдела соседней кондитерской фабрики Алевтиной. Она закончила какой-то техникум, и такое образование и должность с приставкой «младший» ее вполне устраивали. Мы ее называли Алькой, но не потому, что не уважали. Причина в другом. Она была настолько живая, непосредственная, с непрерывно меняющимся выражением лица, что солидное Алевтина ей просто не подходило. И выражение ее лица изменялось только в одну сторону – от просто довольного, до смешливого, счастливого, веселого, радостного и далее в том же направлении. Мне, правда, доводилось видеть и грусть на этом лице, но это было намного позже. Жила она у тетки, приехала из какого-то маленького райцентра по соседству, и сначала показалась мне, правду сказать, немного простоватой, особенно рядом с рафинированным Андреем. Может быть потому, что ее безусловно симпатичное лицо было почти круглым, и даже с легким намеком на последствия татаро-монгольского ига. Такой район, недалеко татары, башкиры... Но глаза большие, карие, губы яркие без макияжа, чуть-чуть пухлые. Черные волосы, красивые, блестящие, немного волнистые, всегда ухоженные, в этом Алька следовала традициям Голливуда – прическа, как ботинки у джентльмена, у нее всегда была в порядке. Все в комплекте смотрелось неплохо.

Она была чуть повыше Додика и, казалось мне, хорошо сложена, хотя когда я с ней познакомился, было холодно, ветрено, на всех уже были одежки, и подробности разобрать было трудно.

Мне в ней очень нравилось «оканье», как и положено в Поволжье, и удивительная непосредственность. Как-то вскоре после знакомства она между прочим заявила, что сама выбрала Андрея – тот скромно согласился, – потому что сил не было отбиваться от кавалеров. Толпой ходили. А так теперь все знают, что она живет с человеком – так и сказала «живу», в то время это был эпатаж, – и к ней почти не пристают.

Я не удержался, язык без костей, и спросил, чем она эту толпу приманила. Думал, обидится, даже пытался извиняться. Алька только рассмеялась.

- Дождемся весны, лета, тогда поймешь, чем я их приманила.

Она была права, весной я это понял.

А что мне не очень нравилось – Алька могла выругаться. Матом. Правда не трехэтажным, а в один этаж, не слишком грубым, не часто и по делу. Она старалась при нас этого не делать, но привычка, воспитанная с детства... и окружение - на кондитерской фабрике трудились не ангелы небесные, нецензурная лексика там была одной из составляющих общения. Мы это Альке прощали. Когда неприятно слушать мат - когда у женщины с хриплым голосом это просто слова-паразиты. Это противно. У Альки был голос

приятный, и если что-то высказывало против воли, то только тогда, когда она не находила мату достойной случая замены. Она к тому же немного верила в Бога и после пассажа часто говорила «прости Господи». Это смягчало впечатление.

Когда-то такая накладка – я узнал позже – произошла у нее при знакомстве с родителями Андрея. Все сделали вид, что ничего не произошло, но выводы, разумеется, имели место...

У Альки с Андреем тоже была нелегкая личная жизнь. Когда я сказал «тоже», то имел в виду мои институтские годы и вообще почти всю советскую молодежь. Отсутствие помещения, где можно остаться наедине, загоняло людей в брак, как уже сказано несколькими страницами раньше. Андрей с Алей пока держались, но зимой было особенно сложно. Сколько можно ходить в кино... и потом темперамент не давал покоя.

Поэтому постепенно Андрей стал брать ее с собой в ресторан, потом даже на преферанс. Подруга быстро вошла в коллектив и заметно его украсила. Вела себя весело и совсем не навязчиво, таково было ее природное свойство, редко встречающееся у женщин.

Постепенно мы стали понимать, что появление Альки не только не помешало, но изменило к лучшему отношения в нашей компании. Первое время мы, собственно говоря, и компанией не были, тем более друзьями. Мы, в сущности, были только партнерами по преферансу. Преферансисты знают, как это бывает. Собирались к намеченному времени, несколько слов, пока расчерчиваешь пулю, а потом игра. Во время игры не очень поговоришь на посторонние темы. Нужно считать, следить за ходами, не забывать записывать. Если и обсуждали, то только ошибки в игре. Играли на время. Потом: «Ой, пора».

А с приходом Альки мы стали гораздо больше общаться, что собственно и создает компанию. Тому было много причин, так или иначе со временем знакомство должно было перерасти в дружеские отношения. Но присутствие симпатичной девочки безусловно стало катализатором для молодых людей – дополнительный стимул проявить себя, поспорить, высказать какие-то свои взгляды. Если хотите – покрасоваться, даже несмотря на то, что коварных планов по отношению к Андрею у нас с Додиком не было. Алька вела себя скромно, как я сказал – не назойливо, она не была болтушкой, но было очевидно, что она с интересом слушает наши разговоры. Даже не говоря ни слова, она давала понять, с чем согласна, а против чего возражает. А короткие реплики, которые она иногда вставляла, были всегда по делу. Постепенно мы почувствовали, что без нее не только Андрею, но и нам с Додиком стало скучнее. Игра без нее шла энергичнее, а вот общение... Я, например, наиболее интересные – как мне казалось – мысли стал приберегать к ее появлению. Со временем нам стало понятно, почему Андрей – несмотря на налет аристократизма – так очевидно влюблен в Альку.

В ресторан теперь без нее мы не ходили, главное там были разговоры, а с Алькой было интересней и говорящим и слушающим.

О чем беседовали? Власть и строй мы тогда еще не трогали, ругали местный бардак на заводе, в городе, в Поволжье. Высоко не подымались. Только я пару раз пытался высказать свои новые революционные взгляды, о которых говорил вам раньше. Я сказал, что Гитлер и Сталин одно и то же. Что они решили разделить Европу, что Сталину досталась часть Польши и Прибалтика. Что Гитлер убивал чужих, а Сталин в основном своих, миллионы убитых, и неизвестно, что хуже. Как говорил наш бывший отец народов – «оба хуже». Словом, то, что сейчас все знают, а многие даже забыли. Я снова намекаю на нынешнюю неожиданную любовь российских масс к покойному вождю. Но в то время такие высказывания вызвали шок у моих довольно либеральных слушателей. Не забудьте, был только 58-й год. Все прозвучало слишком резко. Я это понял и перестал эпатировать публику.

Особенно часто мы стали обсуждать любовь и отношения с женщинами - попробуйте утверждать, что в этом нет влияния симпатичной Альки. У каждого из нас было свое мнение. Высказывая его, мы невольно косились на молчаливого и поощрительно улыбающегося арбитра.

Я, как пострадавший, утверждал, что самое лучшее для человека, полюбить один раз и верить в свою и чужую любовь. Тогда нет терзаний, тогда ты во всем уверен, а значит счастлив. И нет необходимости еще и еще раз повторять сомнения, неуверенность и даже страдания. В общем, что-то в таком духе...

Додик – тоже пострадавший – придерживался другого мнения. Он считал, что если человек твердо знает, что впереди нет и не может быть чего-то нового, волнующего, даже включающего страдания, но сладкие страдания, то стоит застрелиться уже сегодня.

- Но если человеку так хорошо, что ничего другого уже не нужно?

- Значит, ты мертв. Помнишь анекдот? Если ты проснулся и у тебя ничего не болит – тогда ты мертв.

Я взглянул на Альку. Она так явно была согласна с Додиком, что Андрей помрачнел – решил, что это и его касается.

Сам Андрей высказывался определенно. Главное – это семья, надежная жена, ухоженные дети. Для этого все нужно делать. А все остальное вторично и как у кого получается. В жизни все может случиться, но не во вред семье.

И тут Алька – помню – весело вставила:

- Ну да, три К - киндер, кюхе, кирхе.

Андрей ошарашенно спросил:

- А ты откуда знаешь про три К?

Прозвучало не очень тактично, но Алька не обиделась.

- Радио слушаю.

Во время игры в преферанс Алька первых пару раз сидела рядом со мной на полатях и молча училась, не задавая вопросов. Потом пришла однажды в спортивном костюме на вырост и завалилась – спросив, правда, разрешения – мне за спину. Там с тех пор было ее постоянное место.

Мы с Додиком сочувствовали их с Андреем тяжелому положению, но приняли Альку в свою компанию не только из чувства товарищества. Кроме благотворного морального влияния она украшала наш убогий быт. И не только визуально. Приносила от тетки вкусные вещи – то отличные соленые грибочки, то сушеные фрукты, то пирожки собственного изготовления. После игры и легких возлияний она убирала мои хоромы, безропотно мыла в коридоре у умывальника посуду. Хорошая была девочка...

Короче, мы им были рады. И рады помочь их личной жизни.

А как насчет моей личной жизни? Ее просто не было. Меня все время изнутри жестоко грызла – другого слова не подберу – тоска по Оле. График моего настроения можно описать синусоидой: то я злился на нее, обвинял в гордыне и эгоизме, то мной овладевала такая жалость, что подобно маме я ночью вслух бормотал:

- Бедная девочка... Бедная девочка...

Я прекрасно сознавал, что с этим нужно бороться и что лучший способ – вышибить клин клином. На заводе этих клиньев тоже было достаточно, а если учесть, что рядом располагалась целая кондитерская фабрика, – то полное раздолье. Правда, я не был особо завидным кавалером, тем более женихом – бедный инженеришка, к тому же еврей. Это последнее, нужно признать, серьезной роли не играло, но в глубине сознания каждым человеком любого пола невольно учитывалось... Понимали, что даже без желания обидеть друзья и подружки все-таки будут говорить: «Она по-прежнему встречается с тем же евреем». Иной раз – что еще хуже – «с тем же еврейчиком». Правда, потом могут добавить:

«Симпатичный парень» или что-то в этом роде, но уже в качестве уточнения. Это, безусловно, мало кому мешало, но все-таки... А может, и мы со своей стороны заикливались и подозревали подобные мысли, даже когда ничего похожего не было, типичный случай смеси самоуничижения и гордыни, чем по моему – и не только моему – мнению евреи отличаются... Но бог с ней, с этой темой.

Короче, возможности у меня были, и клинья попадались довольно симпатичные. Но меня определенно сглазили. Я бы даже сказал, навели порчу, хотя никогда не был суеверным. Меня не только не влекло даже к самым красивым – а были и такие, - но скорее просто отталкивало. Любой неудачный жест, слово, дефекты – даже неявные - фигуры, одежды гипертрофировались в моем сознании. Больше одного, да и то короткого, свидания выдержать не мог. Я понимал, что причиной была любовь к Оле, которая, как я уже говорил, грызла меня изнутри. Но абсолютное отсутствие влечения к женскому полу, мне совершенно не свойственное - всегда был избыток, - просто пугало. Даже пару раз появились мысли, что я поменял ориентацию. Во всяком случае, судя по всему, я ее утратил. Хотелось бы, чтобы не навсегда.

И все-таки моя жизнь в изгнании была не слишком тяжелой. Прежде всего, я был очень рад, что появилась хорошая компания, не будь ее – дело бы было вообще из рук вон. А так я постепенно приходил в себя. Потихоньку – не слишком явно – улучшал свои позиции на заводе. Даже Хлопуша перестал регулярно просить главного инженера, чтобы его избавили от такого начальника участка, он делал это только время от времени – тоже большое достижение.

Так с переменным успехом прошла зима.

Между прочим, я предложил Андрею иногда пользоваться моей комнатой для встреч с Алькой, отдельный вход из коридора и глухота бабки делали бы их свидания безопасными. Андрей передал мое предложение Альке, но та категорически отказалась, и кажется даже на меня надулась ненадолго. А Андрею сказала, что смешивать преферанс и бардак она не будет. Я ее понимал – как смотреть нам в глаза, лежа на тех же самых полатях...

Кстати, Алька постепенно, молча, почти не задавая вопросов, довольно прилично освоила игру. Она заглядывала в мои карты, слышала наши рассуждения, когда мы «открывались» и «ложились на стол», и все это наматывала – по ее выражению – на ус. Когда месяца через два не пришел Додик, она его с успехом заменила. Додик у нас был немного тугодум, Андрей считал мгновенно, мы Алькой оказались посередине.

Но играть мы продолжали втроем – места на четверых в моих апартаментах не хватало. Поэтому Алька по-прежнему была у меня за спиной, но стала более активно вести себя, вмешивалась в игру, иногда тянулась к столу-табуретке, что-то доказывая. Увлекаясь, прижималась ко мне... Словом, к весне я стал ощущать ее присутствие у себя за спиной, и мои опасения по поводу потери ориентации постепенно рассеивались...

Но заметные изменения моего отношения к Альке случились, когда стало тепло. Ближе к концу мая она пришла на традиционный загул в «придворный» ресторан одетой по летней моде тех лет и произвела впечатление.

Я этот наряд помню. «Новое видение» Кристиана Диора - силуэт «песочных часов», по максимуму подчеркивающий женскую природу, - дошло и до российской глубинки. Алька была одета в полном соответствии с «песочными часами» - подчеркнута приталенная светло-голубая кофточка, глубокий вырез на груди, плечи обнажены насколько возможно и еще чуть-чуть, синяя юбка-колокол значительно выше колен – почти мини, а по тем временам такую длину определенно можно было считать мини. Пышные волосы красиво ниспадают на плечи. И в довершение всего карие хитро-прищуренные глазки – ну как я вам? Я понял толпы, которые за ней ходили, – более сексуально притягательных форм, более красивой кожи я у женщин не видел ни до, ни после. Все параметры были чуть-чуть

больше, чем положено идеалу (кроме талии – она была как у Гурченко), но это – с некоторым злорадством я вспомнил Олю – оказывается, совсем неплохо.

Андрей заметил впечатление, которое на меня произвела новая Алевтина, и, не без удовольствия, добавил интриги:

- Вот так и приходится отбиваться. Даже из Москвы женихи приезжают.

Алька махнула рукой.

- Да брось ты...

- А кто это? - Додик был любопытным.

- Ее большой начальник из Москвы. Из главка. Барков. Шишка.

- Барков, Барков... Где-то я эту фамилию слышал...

Мы с Андреем переглянулись.

- Алька, как ты его подцепила? – Додик не унимался.

- Кто его цеплял? Приехал еще тем летом с делегацией, когда мы первое место заняли.

И мы почти всем заводом поехали в дом отдыха на Волгу. На выходные. Бесплатно. Купались, загорали.

- На пляже. Тогда нет вопросов...

Алька даже покраснела и толкнула Додика в бок.

- Да брось ты. Мы сидели за одним столом...

- Это он подстроил?

- Наверно. Ну и разговорились, - Алька рассмеялась. – Я спросила, не он ли при Пушкине писал матерные стихи.

Додик хлопнул себя по лбу. Вспомнил, кто такой Барков.

- А ты откуда про это знаешь?

Альку задело. Она нахмурилась.

- Знаю, и все. Почитать вам Баркова? Вслух?

Мы дружно отказались. С нее станется.

А Андрей с комическим вздохом закончил тему:

- Он с тех пор два раза приезжал. И замуж звал. Богатый жених.

- Не то, что вы, голытьба. Только старый, ему уже под сорок.

Андрей с ехидцей добавил:

- Невысокий, полноватый, лысоватый.

- Ну и что? – Додик надулся, эта характеристика подходила и к нему.

- Дался вам этот Барков. Мы гулять пришли. Заказывайте.

Мы отлично погуляли. Окружающие явно нам завидовали, и это улучшало настроение.

На преферанс Алька приходила по-прежнему в спортивном костюме, но в новом, легком, не таком плотном, как зимой, и поменьше размером. Этот костюм уже не слишком скрывал особенности ее тела. Но это было ни к чему, я и так прекрасно помнил увиденное в ресторане.

Собственно, никакой вины я за собой не чувствовал. Ну, присоединился к толпам мужиков, которым она нравилась. Ничего удивительного нет в том, что нормальный парень неровно дышит по отношению к такой девушке, и иной раз у него даже появляются крамольные желания. Но хорошо уже то, что я опять стал нормальным парнем. Правда, напротив меня сидел Андрей, а сзади нет-нет да и прижималась Алька, тогда я ощущал определенный дискомфорт.

А вскоре с Андреем начались проблемы.

Его родители вместе с младшим братом должны были на двадцать дней уехать в гости в Алма-Ату. Я даже позволил себе сострить во время очередной игры:

- Теперь двадцать дней и ночей мы вас видеть не будем.

И тут же получил болезненный удар сзади под ребро. Действительно, прозвучало пошловато. Позавидовал...

На следующую игру Андрей пришел мрачный и в одиночестве. Мы поняли, что голубки поссорились. Бывает. Расспрашивать ни о чем не стали – замкнутый Андрей этого не любил. Но обида требовала выхода, и за коньяком он раскололся. Оказалось, Алька категорически отказалась приходить к нему домой, неудобно ей, видишь ли... А когда следующая такая возможность будет? Что-то она темнит... У него определенно роились ревнивые мысли.

Но в воскресенье на работе он уже сиял, как майское солнышко. Я почему-то даже огорчился. Оказалось, зря. Андрей на радостях нарушил все свои ханжеские каноны и рассказал, что Алька не темнит. Просто у нее эрозия, и врач запретил всякие... Вместо продолжения он залился краской. Наш скромник...

Словом, в следующий раз они пришли вместе, и все было как обычно.

А в очередную субботу произошли изменения. Подвернул ногу Андрей. Ничего особенного, но пришлось полежать. Мы уже думали с Додиком сыграть с болваном, то есть вдвоем. Но тут раздался голос:

- Я сойду за болвана?

Алька! Она сказала, что Андрея накормила, напоила и вот пришла.

Мы с удовольствием поиграли. Все-таки Андрей нас своей скоростью подавлял, у него в голове был компьютер. Может быть поэтому, мы немного заигрались. Додик неожиданно вскочил и завопил:

- Караул! Опаздываю. Проводишь Альку! Я сбежал.

И исчез.

Как ни странно, наступила необычная тишина. Какая-то неловкая. Аля по привычке собрала чашки, в чекушке осталось немного коньяка – мы допили. Потом она помыла посуду.

- Ну, пошли.

Я потянулся к выключателю, но не выключил. Повернулся к ней... И вдруг какая-то сила буквально швырнула нас друг к другу.

- Свет, выключи свет...

Крепко обнимая, сжимая друг друга до боли, мы добрались до выключателя.

Я успел спросить – чертов язык и характер:

- А как же эрозия?

- Дурак. Ты что, не понял? Ты моя эрозия.

К счастью, на следующий день было воскресенье. Мы уснули далеко за полночь и проснулись не раньше десяти.

Первое, что сказала Алька, которая чувствовала себя очень комфортно, как будто мы просыпались вместе много лет подряд:

- Я всегда думала, что после... мужик только мешает спать. С тобой, Борька, чудно спится. У меня вообще со сном плохо. Но с тобой так спокойно и сладко. Это мне больше всего нравится.

- Только это? - я обиделся и надулся.

- Миленький, дурное дело не хитрое. С тобой просто лежать и спать тоже хорошо. А это дорогого стоит.

Я опять не удержался:

- Ну, ты человек опытный...

Мне все-таки удалось ее немного вывести из себя.

- Миленький, какой ты все же ... - и выругалась.

Она почему-то при мне ругалась больше, чем в компании, говорила, что чувствует себя свободней. «В своей тарелке». Но в сочетании с «миленьким» я это воспринимал без возражений.

И объяснила мне, бестолковому, насчет опыта. Ей было двадцать с небольшим. С Андреем встречалась около года. Он был у нее первый. И она в своей среде – вы помните все, что я об этом писал, - не была исключением, скорее правилом. Вот такое удивительное время было. Молодых да ранних было намного меньше...

Провалились мы до обеда. А что решили? Ничего не решили. Инициативу я отдал Альке, хотя прекрасно понимал, что поступил не слишком по-джентльменски. Отмалчивался. Алька решительно сказала:

- А че будем решать? Нечего решать. Ну случилось, дальше посмотрим. Тем боле, - она говорила «тем боле», - я знаю, ты любишь другую. Тем боле, что ты у нас не удержишься, ведь так?

- Так.

- Тем боле, что мы пара, как гусь и гагара.

- А с Андреем вы тоже гусь и гагара?

- Миленький, мы на берегу договорились, что гуляем, и все. Я так ему и сказала: Андрюша...

- Андрюша, так ты его называла? И только? – это уже точно была ревность.

Она сразу поняла, в чем дело.

- Миленький – для меня только ты. Не было пока еще миленьких.

- Почему?

- Не знаю. Так само захотелось.

Это было очень приятно.

Но у нее в запасе были еще «тем боле».

- Тем боле, я не хочу, чтобы обо мне думали, что я мотаюсь, как б... от одного к другому. Ты же не думаешь, что я б...? Ты же чувствовал, что у нас происходит?

Я вместо ответа ее поцеловал. Потому что чувствовал, что происходит. И не хотел больше этих «тем боле».

12. Рука судьбы

Я не знал, как отнестись к этому событию. А может, это вовсе и не событие, а банальное приключение? Совпали обстоятельства, и переспал парень с девушкой, так случилось. Обстановка подтолкнула, оказались наедине рядом с полатами, плюс симпатия... Я бывал в подобных ситуациях, так сказать не первый год замужем. Но на приключение все-таки похоже не было. Да, бродили во мне желания, вы это помните. Однако то, что эти желания оказались обоюдными и настолько сильными - кто мог себе такое представить? И еще одно, может даже наиболее подозрительное. При случайном сексе после того, как все заканчивается, появляется желание поскорее уйти, разумеется в рамках приличия. А тут – Алька была права - последующий сон, пробуждение, короткий разговор: – все было ничуть не хуже. Уверяю вас, нисколько не хуже. И еще – я вынужден был признаться, что порча снята, и укоризненный образ Оли не витал над нами, вообще не появлялся. Это тоже настораживало. Нет, все было не так просто.

Я испытывал чувство вины и перед Андреем. Если бы я Альку любил, то все было бы не ново под луной. Ушла девушка к другому. Эка невидаль! Додик бы сказал, что они созданы для того, чтобы нас обманывать. Но я Альку – мне казалось - не любил, я ее хотел, а это далеко не одно и то же, недостаточное оправдание некрасивого поступка.

Но один положительный результат все-таки отметил – тоска по Ольге не с таким усердием, как это было раньше, грызла меня. И, стал подозревать, что из двух известных

народных средств борьбы с сердечными ранами – «время лечит» и «клин клином вышибают» – второе средство действует эффективнее.

Короче говоря, я решил как можно меньше ковыряться в себе и спокойно ожидать дальнейшего развития событий.

Примерно так и поступал до среды. В среду начал нервничать. Появился на заводе Андрей, веселый и жизнерадостный. Обедали мы в столовой вместе, как обычно, и у него был отменный аппетит. С чего бы это? Я заметно помрачнел. А этого делать не следовало, я же решил спокойно дожидаться развития событий. О том, как они у Андрея дома с воскресенья развлекались, даже думать не хотелось... Дело дошло до того, что я индифферентно спросил:

- Как Алька поживает?

- Прекрасно поживает, - он буквально светился, или мне так казалось.

- В субботу играем? – это уже Додик.

- Само собой.

Я тряхнул головой и постарался сбросить наваждение. Кажется, удалось.

Домой пришел почти спокойный, но читать не хотелось, и я подозрительно рано завалился спать. Есть у меня такой метод борьбы с душевными расстройствами. Значит, они все-таки были?

Когда на улице стемнело полностью, раздался осторожный стук в окно в коридоре. Вы не забыли, в комнате у меня была только форточка, расположена довольно высоко – с улицы не дотянешься. Я вышел в коридор. Была середина июня, дверь в коридор и окно в жару на ночь я не закрывал, только на окне висела марля от мух и комаров. Присмотрелся – Алька. Я рванул марлю в сторону, затянул гостью в окно...

Как мы друг друга не разорвали или не задушили, не понимаю. Не размыкая объятий, натываясь на табуреты, мы ворвались в комнату.

В руке Алька держала какой-то пакет, он полетел на пол... вместе со всем, что на нас было... Я успел ехидно подумать - какие-то африканские страсти. Но ирония автоматически отключилась и больше не появлялась ни в тот вечер, ни во время наших последующих встреч – вам это о чем-то говорит?

На этот раз ужин у нас состоялся поздно – за полночь. Мы – и это неудивительно - проголодались, а в пакете, который принесла Алька и который мы так неуважительно швырнули на пол, были пирожки с печенкой. Их нужно было съесть. А кроме того, у меня еще оставалось полчетвертинки коньяка, и как сказала Алька, «тем боле» у нас был отличный повод для торжественного ужина. Она с этого дня постоянно встречается со мной, а я теперь постоянно встречаюсь с ней. В этом уже никто из нас не сомневался.

Правда, Алька пыталась что-то объяснить.

- Понимаешь, никак не могла три последние ночи толком поспать...

Но прозвучало очень неубедительно, она это поняла, махнула рукой, рассмеялась и добавила:

- Да о чем тут толковать...

И поцеловала меня. С нами было все ясно.

А вот с Андреем ясности не было. Как ему об этом изменении нашего и его статуса сообщить? В какой форме? И выглядит не слишком этично, да и, честно говоря, жалко было разбивать такую прекрасную компанию, которая, безусловно, украшала нашу не слишком приятную и комфортную жизнь в условном Саратове. Но, видимо, это было неизбежно...

Конечно, нужно было обсудить эту проблему. Но в тот вечер – да и в последующие - мы разговоры об Андрее дружно откладывали на потом.

13. Потом

Мы встречались сначала два раза в неделю – по понедельникам и средам, но затем Алька добавила пятницу, и возражений с моей стороны не последовало. Учитывая стандартный преферанс в субботу, мы расставались, прямо скажем, ненадолго. А на Андрея времени все не находилось. Разумеется, хотелось оттянуть неприятное, это вполне естественное эгоистическое желание молодых, которые редко печалются о пострадавших в любви - «пусть неудачник плачет». Да кроме того, у нас действительно катастрофически не хватало времени не только на обсуждение сложной темы, но и на любые разговоры. Вторая половина июня, летнее солнцестояние, самые длинные дни в году. Алька из соображений техники безопасности раньше половины одиннадцатого пробраться ко мне не могла – народ допоздна бродил по улицам. А уходить ей нужно было из тех же соображений не позже пяти часов утра. Абсолютный цейтнот! Добавьте к этому, что высыпаться как следует она – по ее словам - могла только со мной. И я ей верил. Чуть только выпадала свободная минутка, то есть возможность о чем-нибудь потолковать, как Алька полусонным голосом бормотала:

- Спать, миленький, спать, спать, спать...

Она поворачивалась ко мне спиной, прижималась, забирала мою руку, укладывала ее себе на талию и далее на живот... и мгновенно отключалась.

Хорошо помню, что меня в то прекрасное время беспокоили только две проблемы. И первая, естественно, Андрей. Я чувствовал себя каким-то двуликим Янусом, и это сказалось на моем поведении вообще, а во время преферанса в особенности. Играть я стал заметно хуже, но это полбеда, вдобавок я стал разговаривать с пострадавшим каким-то елейным тоном, что вызывало удивление партнеров и болезненные тычки Альки в мою спину – она по-прежнему занимала свое законное место на полатах.

Второе, что меня расстраивало, – у меня не было практической возможности понять, какой человек Алька. Не в смысле хороший или плохой, а - как бы поточнее объяснить – совместимы ли мы с ней в других отношениях, не в сексе. О совместимости физической у меня никаких вопросов не возникало. Но Алька в компании во время преферанса это одно, а вот в личном общении, один на один – это совсем другое дело. Найдем ли мы с ней общий язык? Но для того, чтобы разобраться друг в друге, надо хоть иногда разговаривать, другого способа не придумано. А у нас времени на это не было. Наверно, в моем беспокойстве было что-то снобистское, не напрасно в приступах самобичевания я вспоминал классическую фразу конференсье - Зиновия Гердта из спектакля кукол Образцова «Обыкновенный концерт»: «Не слишком ли я культурен для вас?» Хотя знаете, с другой стороны – эти довольно некрасивые сомнения в какой-то степени говорят о серьезности моего отношения к ней. Если бы Алька для меня была просто отличным партнером, тогда эти мысли меня бы не одолевали. Но в том-то и дело, что когда мы не виделись день-другой, я так по ней скучал, что довольно быстро пришлось себе сознаться: мое, как я только что осторожно назвал, «отношение к ней» становилось очень похожим на чувство, названия которому я еще не решался подобрать.

Я, как мне казалось очень тонко, при каждом удобном для разговора моменте забрасывал удочки, с целью получения информации. Типа – что ты сейчас читаешь? В ответ Алька смотрела на меня с удивлением:

- Откуда у меня на это время?

Да, действительно у нас сейчас напряженка. У меня журнал тоже лежит нетронутым, а пора уже сдавать его в библиотеку...

Иногда я действовал еще тоньше – во всяком случае так мне казалось. Однажды мы в субботу собирались ехать играть в преферанс на Волгу, на пляж. Вечером накануне я напомнил Альке об этом, и мимоходом хитро завернул:

- Жаль, что нет удочек. Там «хорошо ловится рыбка бананка».

Напрасно я расставлял акцентами кавычки, реакции не последовало. С Сэлинджером она не сталкивалась...

Но где-то недели через две после начала наших... как их назвать?.. ночных рандеву... я безуспешно пытался с ней о чем-то потолковать - на этот раз без всякого злого умысла - и услышал привычное «спать, спать, спать». Тогда, желая оправдаться, я процитировал ей в затылок:

Свиданьем с вами оживлен
и говорлив. А разве нет времен,
что я Молчалина глупее.

И в ответ услышал.

- Александр Андреич, ты дашь мне поспать?

- Какой такой Александр Андреич?

- Какой, какой! Чацкий твой.

Я сам не сразу вспомнил, как зовут Чацкого, поэтому мой вопрос прозвучал очень удивленно:

- А ты-то откуда можешь это знать?

«Ты-то» да еще «можешь это знать» прозвучало довольно-таки высокомерно и грубо. К тому же я вспомнил аналогичную реакцию Андрея на три К и понял, что зарвался. Алька отбросила мою руку, отодвинулась, села. Включила свет – при свете, наверно, ругаться было легче. А может, решила одеться и уйти? Я не на шутку встревожился.

- Господи, какие вы все одинаковые. Аж тошнит.

- Кто все?

- Ты и Андрей. Без конца проверяете, хорошо ли я образованна.

Я понял, что она давно раскусила мои неуклюжие – как я сейчас уразумел – маневры. И – признаюсь – испугался. Неужели я снова оказался душевно тугоухим и Оля была права?..

- Я Андрею сказала, что для этого дела не нужно сдавать экзамены.

Разозлившись, Алька дала более конкретное определение «этому делу». Нужно было выходить из разразившегося скандала; кстати, первого за все наши безоблачные встречи.

И тут я - нужно отдать мне справедливость – нашел очень хороший ответ:

- Но ведь мы знаем, что у нас с тобой другое. Настоящее. Ты и сама говорила.

Алька оттаивала на глазах. Она вообще была отходчивой и, мне кажется, искренне, верила во все хорошее. Поэтому, все еще насупившись, сказала:

- Да успокойся ты! Меня девочки на фабрике зовут «изба-читалка». Я до восьмого класса, пока не уехала из деревни, всю нашу библиотеку перечитала. А она была хоть и деревенская, но очень приличная.

Наверно в моих глазах она увидела некоторое сомнение, потому что неожиданно стала оправдываться.

- А че мне оставалось делать? Батя меня, как стемнеет, на улицу не выпускал. Пришлось читать. Он у меня идейный. С войны пришел без руки, но с партбилетом. Он у нас партийный секретарь.

В голосе прозвучала гордость, которая тут же сменилась раздражением.

- Я потому после восьмого класса и уехала сюда в техникум и к тетке. Че у нас там делать? Раз в неделю кино в клубе, часто одно и то же. А на танцы и по вечерам обжиматься с ребятами меня батя не пускал. Шить и вязать я не люблю. Вот и читала все подряд. А когда библиотека кончилась, я сбежала. И сейчас по вечерам все время читала... пока тебя не было. Че лыбишься?

Только сейчас я заметил, что сижу и по-дурацки улыбаюсь. Человек, который много читал, это не просто Алька. Это...

- Алечка! - сказал я вслух, продолжая улыбаться.

После «Алечки» стало ясно, что мир восстановлен.

И тут она нанесла мне последний и сокрушительный удар. Выключила свет, повернулась спиной, заняла привычную позу и сказала:

- Спи уже, Гуинплен несчастный.

Гуинплен, Гуинплен... Что-то знакомое. Но не спрашивать же у нее... Не сразу я вспомнил, что это герой романа Гюго «Человек, который смеется». Наконец осенило. Но улыбку я с лица не стер. Так и уснул, улыбаясь.

14. Медовый месяц

Название этому счастливому периоду дала Аля – кстати, с тех пор я ее Алькой больше не называл. Месяц действительно был медовым без всякого преувеличения, без скидок на необычные обстоятельства. Даже несмотря на то, что не было времени на нормальное общение. Но зато у нас его не было и на скандалы, а что важнее для счастья - один Бог знает. Да, Аля была абсолютно права, и напрасно она переживала, что таким образом оговорила конкретный срок. Все так говорят: у них был медовый месяц. Месяц, и никаких особых предзнаменований в это не вкладывают. Просто Аля была не только немного верующей, но и в дополнение к этому суеверной. Впрочем, пока все складывалось хорошо, отменно складывалось.

Даже на работе у меня наступил относительный покой – началось время летних отпусков, и наш коллектив дружно все неприятности отложил на осень. Но самая главная удача – Хлопуша ушел в отпуск, и я практически стал на время сам себе хозяин. Как-то ни шатко ни валко, без ажиотажа и нервотрепки мы выпускали все ту же халтуру в положенные сроки. Авралили по-прежнему, но лениво и больше для проформы. Я вам уже говорил, что штурмовщина носила какой-то психопатический, не основанный на реалиях характер. Так что на работе нервы мне никто не трепал.

Из неприятностей оставался только «фактор Андрея» - это уже моя формулировка. Но и он постепенно решался.

Дело было не только в том, что я ощущал себя предателем, оказалось, что не меньше неприятностей доставляет мне ревность. Когда после субботнего преферанса Андрей похозяйски обнял Алю и отправился ее провожать – это всегда было его обязанностью, – я испытал жжение в желудке. Почему-то ревность у меня гнездилась не в сердце.

Стараясь быть как можно спокойнее, я не удержался и при первом же свидании сказал Але, что эрозия, в принципе говоря, целоваться не мешает. Что по этому поводу думает Андрей?

Аля с улыбкой на меня посмотрела и сказала:

- Миленький, ты должен мне доверять.

На сегодня тема была исчерпана.

О том, что она сама, не советуясь со мной, решила проблему, я узнал не от нее, а от самого Андрея в следующую субботу. Он в положенное время явился один, без Али, мрачнее самой мрачной ночи. Вынул пол-литру коньяка и с грохотом поставил ее на табурет, исполняющий обязанности стола. Все это было настолько не похоже на сдержанного и даже суховатого Андрея, что Додик с изумлением и тревогой спросил:

- Андрюша, что стряслось?

Я промолчал. Догадывался, что стряслось. В дальнейшем разговор вылился в диалог между Додиком и Андреем.

- Вы поссорились?

- Нет, не поссорились, - ответил честный Андрей, - я получил полную отставку.

Я предпочел удалиться в коридор за стаканами и закуской. Но разговор шел на таких тонах, что было слышно – не сомневаюсь - и на улице.

- Как так?

- А вот так, - продолжал Андрей, - мне предложили оставаться друзьями. Мне предложили дружбу. На хрена мне эта дружба?

«На хрена» явно было не в лексиконе Андрея. Допекло парня.

- А она объяснила почему? Разлюбила, что ли?

- Она никогда и не говорила, что любит, - мрачно сказал честный Андрей. – Я чувствовал, что что-то не так. Эр-розия... где-то у нее завелась на стороне эрозия. Где посуда?

Последняя фраза относилась ко мне. Отсиживаться больше смысла не имело. Я вынес стаканы и остатки селедки с одной картофелиной. Плюс кусок черствого хлеба. Правда, в холодильнике были вкуснейшие ватрушки от Али, но их демонстрировать не стоило.

- Убери эту гадость, - сказал Андрей и вынул из кармана горсть шоколадных конфет.

Словом, игра в эту субботу не состоялась. Андрей, который всегда пил меньше, чем мы с Додиком, не сей раз изменил своим правилам. И становился непривычно агрессивным.

- Я эту эр-розию найду, будьте уверены!

- И что будет?

- Начищу ей рожу, будьте уверены.

- Она-то...тьфу, он-то чем виноват? Если он есть.

- Сволочь она... он. Все знали на заводе, что мы встречаемся. Чего между нами лезть? Нет, морду я ему начищу, будьте уверены.

Я по-прежнему сидел молча и старался изобразить сочувствие. Конечно, я не боялся, что мне начистят рожу, я был покрепче и поспортивней, чем Андрей. Но каждое его слово хлестало, как пощечина. Мне даже казалось, что на щеках оставались багровые следы от его пальцев. Вышел в коридор, заглянул в зеркало над умывальником – следы определенно были.

Тяжелый вечер. Наконец он закончился, и Додик с Андреем ушли.

В понедельник мы с Алей начали встречу не как обычно, а с совещаний. Нужно сказать, Аля не очень печалилась о судьбе Андрея и не испытывала никаких угрызений совести. Женщины – и все это знают – в таких вопросах куда жестче мужчин. Она ему ничего не обещала и в вечной верности не клялась – такое было объяснение. Он с самого начала знал, что если она кого-то полюбит, то уйдет. Вот она и ушла. В воздухе повис вывод, что она полюбила, видимо меня, больше вроде некого. Но почему об этом прямо не сказать? Я не стал допытываться. Ушел в искусство.

- Как Кармен? Любовь свободна, мир чаруя?

- Примерно. Ты опять меня проверяешь?

Я ее не проверял, я уже знал, что мы говорим на равных. И потом, было не до проверок. Что-то нужно решать. А вот нужно ли?

Мы сошлись на том, что не стоит сейчас ставить точки над «i», не нужно сообщать Андрею, кто его «эр-розия». Пока не стоит. Дело в том, что через десять дней он должен уехать в отпуск на родину, к бабушке с дедушкой. Когда вернется из Алма-Аты, мы уже с Алей тоже будем в отпуске, она в деревне, я в Одессе. А за это время - целых два с лишним месяца – мало ли что может произойти.

- Господи, за куда меньшее время вся жизнь может перевернуться вверх тормашками.

Конечно же, эта мудрая фраза прозвучала, потому что я вспомнил об Оле. Аля посмотрела на меня с неудовольствием. Она поняла, о чем я думаю. Ревность к моему прошлому, несмотря на ее легкий и оптимистический характер, нет-нет да и давала знать о себе.

Но я все реже и реже подавал ей повод для ревнивых мыслей. Образ Оли как-то незаметно растворялся во времени. Я даже начал обвинять себя в легкомыслии. И, конечно же, я сравнивал свое отношение к Оле и Але.

Может, даже вероятней всего, те прошлые чувства были более яркими и романтическими. Но и в этих, нынешних, думал я, есть свои преимущества. Все-таки с Олей я был всегда напряжен, может даже побаивался ее – не зря же признавал, что я у нее под каблуком. Я гордился тем, что меня любит сильный и яркий человек, это вроде бы неплохо с одной стороны, но...

Зато с Алей я всегда был у себя дома. Я говорил, делал и думал все, что хотел, надеюсь, это же относилось и к ней. Никто ни под кого не подстраивался. Теперь я понимал, насколько это важно и... комфортно. А насчет силы чувств – в этом тоже разобраться было несложно. Если мы с Алей не виделись два дня, то я закипал как бойлер, у которого отказала автоматика. Возможно, в этом было больше физического, чем романтического, но кто сказал, что одно хуже другого? И можно ли такие вещи оценивать и взвешивать?

В то время я только начал набираться житейского опыта, хотя как это свойственно молодежи в любую эпоху, считал себя умным и вполне взрослым. Я еще не знал, что когда мужчина и женщина регулярно спят вдвоем, спят в прямом смысле этого слова, то есть засыпают вечером, просыпаются утром в неглиже, помятые, продирают заспанные глаза и прочее, и прочее, и прочее, то у них складываются совершенно особые отношения. Не такие, как при любях, самых интимных и бурных свиданиях, после которых каждый направляется к себе домой. Качественно иные. И складываются эти отношения довольно быстро – в ту или иную сторону. Либо он и она срастаются, либо появляются центробежные силы. Другое дело, что не все могут или хотят понять сигналы, многие упорно продолжают совместную жизнь, гася в себе раздражение по любому поводу и без повода... Но я зафилософствовался. О себе могу сказать одно: постепенно я, как и Аля – наверно это заразное, – стал плохо спать, когда ее со мной не было. Надеюсь, это избавляет меня от подробных описаний того, как складывались наши отношения.

Возвращаюсь к сюжету. Стало понятно, что Аля на следующую субботу, последнюю преферансную субботу до отъезда Андрея, ко мне не придет, и она была вынуждена компенсировать этот прогул внеочередным ночным визитом. Я не возражал.

Грядущую субботу ждал без всякого вдохновения, и мои опасения оправдались. Во-первых, мы все были очень молчаливы. Во-вторых, я играл из рук вон плохо, а Андрей просто блестяще, да к тому же ему нечеловечески везло. Короче, в конце игры мы зафиксировали удивительный рекорд – а играли по десятой копейки в вист – я проиграл 18 рублей, гигантская сумма по тем временам. Обычно выигрыш-проигрыш был в районе одного, максимум двух рублей.

- Ничего, - утешил меня Андрей, - значит, тебе в любви везет.

Мы оба смутились, я - потому что это была правда, а Андрей - потому что вспомнил о моей несчастной любви. Эта накладка веселья не добавила. Мы попрощались с субботним преферансом, но не с Андреем. Он улетал в следующую субботу утром. Еще шесть дней нам с Алей предстояло ждать освобождения. Это было нелегко. Нам надоело жить как совы, хотелось как всем нормальным людям пройтись по улицам, посидеть, обнявшись на скамеечке у Волги, поговорить или помолчать, не глядя с ужасом на часы. Короче говоря, по нашему мнению – Андрей слишком засиделся тут, и это вызывало с каждым днем нарастающее раздражение против него. Ощущение вины даже у меня исчезло без остатка, а у Али при одном воспоминании о своем недавнем кавалере сами собой выскакивали нехорошие слова с добавлением «прости господи». Вот вам пример свойственной людям – не только нам с Алей – несправедливости.

Наконец день освобождения настал. В пятницу за обедом мы с Андреем попрощались, я приложил максимум усилий, чтобы это не выглядело слишком сухо. В этот вечер Аля – вопреки планам – ко мне не пришла. Оказалось, что весь вечер Андрей маячил у нее под окнами. Что за назойливость! Это окончательно избавило нас от остатков чувства вины. Пишу правду, хоть она и не слишком красива, покопайтесь в своем прошлом, а может и настоящем – как часто мы с вами ищем повод злиться на человека, перед которым виноваты. И как часто нам это удается...

А в субботу – мы кончали работу на час раньше, чем кондитерская фабрика, – я пришел к ним на проходную, позвонил в плановый отдел и попросил к телефону Алевтину Попову. Это была демонстрация свободы и независимости. Аля взяла трубку, я сказал, что жду ее у проходной. Она вышла с группой девочек, попрощалась с ними, подошла ко мне и демонстративно взяла меня под руку. Мы гордились своей решительностью.

Погода была очень теплая – июль, мы до глубокой ночи бродили в обнимку вдоль Волги, и по-моему, Аля очень жалела, что никого из знакомых не встретили. Зато встретили незнакомых – двух ребят подшофе, которые стали к нам приставать. Но я проявил себя с лучшей стороны и добавил немало очков в свою пользу в глазах Али. Помните, я писал о сборах и талонах? В юности я занимался боксом, хотя с моим носом этого делать не следовало бы. Он у меня после этих занятий немного, почти незаметно, но все-таки свернут набок. А вот смещение перегородки в носу довольно сильное, и это особенно с возрастом стало проблемой... Стоп, я не об этом. Я о том, что обратил в бегство наших подвыпивших противников. Аля была на седьмом небе.

Я предложил пойти в ресторан, отметить событие.

- Давай лучше во вторник.

- А что будет во вторник?

- Миленький! Во вторник кончается наш медовый месяц. Нужно отметить.

- Но окончание праздновать как-то не принято.

Аля даже изменилась в лице. Она действительно была суеверна.

- Че ж это я, дуреха, – она подошла к ближайшему дереву и постучала. – Тьфу, тьфу, тьфу.

- Да брось ты, – сказал я беспечно, – отметим, как отмечают годовщину. У нас будет месячник. Первый медовый месяц, потом второй медовый, потом третий еще медовой.

После этих слов Аля вернулась на седьмое небо.

Мы решили ничего в нашей жизни пока не менять, ни для каких перемен мы еще не созрели, я бы сказал, еще были далеки от этого. Кроме одного изменения – с сегодняшнего дня мы официально выходим из подполья на свет божий. К людям.

И еще я себе мысленно напомнил свою святую обязанность – не расслабляться и продолжать все так же соблюдать технику безопасности в интимные моменты нашей жизни. Никаких детей! Я слишком пострадал от их незапланированного появления. И если нам с Алей придется когда-нибудь серьезно что-то решать – а я уже сугубо теоретически не отрицал и такого варианта, – то только в зависимости от нашего желания, без всяких привходящих обстоятельств и причин. И к тому же я надеялся на народную мудрость – не зря говорится, что снаряд в одну воронку два раза не попадает. Хотя... воронки-то были разные.

Но помнить о безопасности должны оба. Поэтому я постарался как можно тактичнее донести эти нехитрые мысли до Али. Она поняла, о чем и почему я говорю. Об Оле она меня никогда не спрашивала – кстати, я это ценил и относил за счет ее природной тактичности, – но от ребят наверняка знала суть происшедшего со мной в Одессе. Короче говоря, она очень серьезно со мной согласилась.

Несколько минут мы молчали. А потом Аля, глядя куда-то в сторону, спросила:

- Ты не знал, что она беременна?

- Конечно нет, даже в голову не приходило.

Я готов был обидеться.

- А почему она тебе об этом не сказала?

И я без большой охоты – не хотелось сегодня продолжать говорить о прошлом – рассказал, что Оля знала мое мнение о браках, когда поступают «как честный человек». Кстати, и у ее родителей была примерно такая история. И тоже с печальным концом. В таких случаях обязательно в глубине души затаится сомнение: «А женился я, если бы не это?»

- Знаешь, комплекс по Фрейдю.

- Он говорил о детских комплексах.

Я чуть было не спросил, откуда она о Фрейде знает, инерция прежних сомнений. Но вовремя спохватился и ответил по существу.

- А ЗАГС и есть начальный детский период семьи, со всеми детскими комплексами. И результаты такие же, остаются на всю совместную жизнь.

Я был очень доволен моим дополнением теорий Фрейда. Аля, мне кажется, тоже оценила мою находчивость и даже хохотнула. Мы перешли к более приятным темам.

На обратном пути зашли в магазин и купили снеди – той, которую можно было найти в полупустом, немного запущенном и грязноватом советском магазине, зато алкоголь, как обычно, был. Мы взяли армянский коньяк пять(!) звездочек. То есть праздник свободы вместо ресторана перенесли на табуретки и полати.

Тоже было очень неплохо. Аля, естественно, домой не ушла.

Меня давно интриговала одна мысль – что это за тетка такая у Али свободомыслящая? Я когда-то на это намекнул, но в ответ было молчание, которое красноречивей любых слов говорило, что меня это не касается.

Мы проснулись поздно, перекусили и, может быть, так и не выходили бы на улицу все воскресенье. Но около обеда раздался стук в дверь. Телефонов не было ни у кого, поэтому приход без уведомления считался вполне обычным делом.

Мы затаились и слушали разговор бабки с Додиком.

- Стучи громче, - бабка определенно злорадствовала.

Она хоть была глуховата и подслеповата, но все замечала. Наши «подвиги» за спиной Андрея скорей всего ей были известны, и она их не одобряла.

- А может, его нет дома?

- Дома он, точно знаю. Дома.

Тем временем мы спешно приводили себя в порядок.

Додик опять постучал. Мы молчали. Точнее, я молчал, а Аля тихо бранилась и уже без «господи прости».

- Может, ему плохо?

- Хи-хи, ему очень хорошо. Стучи громче!

- У нас свобода, - сказал я Але и открыл дверь.

Додик зашел в комнату, и последовала немая сцена. Я только развел руками. А Аля неожиданно для меня сказала:

- Додик, я скажу тебе то, чего даже Боре не говорила. Я его люблю.

Они оба переключили внимание на меня. Я тоже должен был сказать, что люблю. Почему-то не получалось. Но все равно поддержал Алю очень уверенно.

- Ты видишь, у нас не шуры-муры. У нас это серьезно.

Прозвучало веско. Хорошо прозвучало.

Додик стал приходить в себя и наконец заговорил:

- И давно это у вас?

- Месяц, - с гордостью сказала Аля, - почти...

- Ну и ну... Нет, мне надо это переварить... Я пошел...

И он пошел.

Мы, признаюсь, не огорчились – все равно он узнал бы. И сомнения нас не мучили. А Додика если и мучили, то недолго. В понедельник он сказал, что осуждать никого не намерен, тем более что женщины созданы, чтобы нас обманывать, в данном случае Андрея. Моя очередь впереди. А пока с Алькой веселее, и вдвоем можно играть в преферанс... Короче, оказалось, что за бедного Андрея, кроме глухой бабки, и заступиться некому. Се ля ви.

Во вторник мы Алей гуляли в ресторане, как и было намечено. Но она все-таки просила, чтобы мы не пили за конец медового месяца. Мало ли... Но я пил. И был прав – с каждым днем становилось все лучше и лучше. Аля ко мне по-прежнему приходила через день, только приходила раньше, а уходила позже – мы уже никого не боялись. И почти каждый вечер подолгу гуляли вдоль Волги. А в пятницу даже пошли в местный довольно неплохой драматический театр - Аля была счастлива. В субботу играли вдвоем с Додиком в преферанс после отличного угощения.

– Молодая хозяйка постаралась, - не то одобрил, не то съехидничал Додик.

15. Засранцы

Продолжаю воспоминания и все больше убеждаюсь, что получается эклектика, механическая смесь различных жанров. Все как в реальной жизни. Только что был большой кусок лирической новеллы о любви и дружбе, никаких социальных проблем, частная жизнь как в каком-нибудь зарубежном романе. И вот появляется новая тема...

Почему я вспомнил о зарубежном романе? Увлекался в то время Генрихом Белем. Как все - Хемингуэем, Моемом, Фитцджеральдом. И размышлял о нашей странной манере воспринимать западное искусство. Мы все понимаем, во всем сопереживаем их героям, но совершенно не видим разницу в образе и уровне жизни. У них и у нас. Иногда, правда, возникает мысль – нам бы ваши заботы. Но не часто. Как правило, мы даже не пытались сравнивать, это свойство у советских людей полностью было атрофировано. При чтении западных авторов иной раз трудно понять, в какой стране происходят события, если нет знакомых городов – настолько это другой мир. Там тоже есть бедность – но она называется бедностью, а не нормой жизни. И никто не обвиняет в этом правящую партию или общественный строй, тем более, никто их не славит и не превозносит на каждой странице. В фильмах мы видели картину их жизни, их квартиру, одежду – напомним, речь идет о 1958 годе – и относились к этому как к сказке. Фантазии. Реальностью была наша коммунальная или густонаселенная квартира (так жило большинство), наш серый внешний вид, наша одежда и обувь кемеровского промкомбината. И посмотрев очередной западный фильм, в котором героиня привычно принимает душ в красивой кабинке или ванну, мы, улыбаясь воспоминаниям и готовясь ко сну (или к ночи любви), стояли над раковиной, где холодной водой можно помыть – с трудом – только верхнюю половину. Но при этом не испытывали никаких комплексов. Правда, раз в неделю предстоял банный день – предчувствие этого утешает, хотя ощущения свежести не дает. Для большинства все это было правилом, а не исключением. С ужасом вспоминаю, как мы жили и кем были в то время...

Весь этот монолог не случаен – приходится возвращаться к условиям нашей жизни, а значит и к системе. Слово «система» тогда в наших устах объединяло понятия: государство, строй, советская власть, коммунистическая партия и лично генсек. Условия нашей жизни неразрывно были связаны с этой властью-системой. А акцент на чистоте тела (считалось, что чистота духа у нас на высоте) я тоже сделал не случайно – дальше речь пойдет о глобальной антисанитарии в сочетании с жарким климатом.

Когда была холера в Одессе, то западные медики говорили: есть очень простой способ бороться с такими эпидемиями: прежде всего, мыть руки. А в общем - вода и чистота. И все. Поэтому на Западе таких эпидемий нет. В условном Саратове они время от времени были.

Не пугайтесь, в тот год там не было холеры. Зато была эпидемия дизентерии. И как обычно, власть старалась это скрыть от общественности. Нас не любили ставить в известность – что говорить, если даже пытались замолчать Чернобыль, я сам в то время гулял невдалеке, ни о чем не подозревая. Поэтому народ узнавал все по косвенным признакам - между строк.

Мы с Алей так были увлечены богатыми событиями нашей собственной жизни, что на время утратили бдительность, а без этой бдительности понять, что надвигаются неприятности, было невозможно.

А косвенные признаки были. В заводской столовой запахло то ли карболкой, то ли хлоркой – уже не помню. В нашей душевой тоже. Даже в ресторане. Хлеб стал отдавать какой-то химией. И главное – собрали совещание членов партии и им сообщили, что есть угроза эпидемии дизентерии. Но говорить и сеять панику – предупредили - не нужно. Коммунисты все равно немного посеяли.

Ночью стали довольно часто звучать сирены «Скорой помощи». Мы на это не обращали внимания, пока в понедельник с завода одна из них не увезла меня.

В больнице, куда меня доставили, я попросил разрешения позвонить. С большим трудом добрался до Али на фабрике. Сказал ей, что загремел с дизентерией в больницу номер два. Аля всхлипнула:

- Это я, дуреха, накаркала. Господи, и что будет?

- Говорят, карантин больше трех недель.

- Три недели! Миленький, я не выдержу...

Я подумал, что ради этих слов, может, стоило подхватить дизентерию.

К нам посетителей не пускали, передачи не принимали. Но с третьего с этажа, поверх забора было видно, кто к нам приходит. Как в фильмах - знакомые всем стандартные сцены возле роддома. Аля была почти каждый вечер после работы. Раза два появлялся и Додик.

Но пора подробней рассказать о больнице. Она того стоит. Начальство города, да и всего района Южного Поволжья знало, что не в этом году, так в следующем будет какая-нибудь эпидемия желудочных заболеваний – почва для этого была богатая. Но как обычно, бороться с неприятностями решили по мере их поступления. Короче, все были – используя медицинский термин – хронически к эпидемиям не готовы.

Инфекционная больница города не могла вместить и доли желающих выздороветь. Кстати сказать, исторически у нас инфекционные больницы самые грязные и запущенные. Интересно почему? Где логика?

Словом, городское и медицинское руководство было вынуждено подключить другие больницы. Но как отделить чистых от нечистых? В больнице номер два, куда меня привезли, нашли выход. Рядом с территорией больницы – за высоким забором – располагалась трехэтажная школа. В июле естественно каникулы. В это время уже все школы были смешанного обучения, а значит в них были отдельные туалеты для мальчиков и девочек. Что еще нужно для лечения простого советского человека от поноса?

В забор встроили калитку, в классах поставили кровати – и новый стационар начал действовать. В нашей палате было шесть коек, вплотную друг к другу. Но это были отличные условия. В спортзале их было немереное количество. Сестры дежурили наши собственные, а врачи были в основном приходящие, из главного корпуса. Наше название было неудобоваримым – инфекционные желудочно-кишечные больные. Врачи с чьей-то легкой руки стали упрощенно нас называть «засранцами». Звучало не как ругательство, а как профиль заболевания. «Я дежурю сегодня у засранцев» или «Сестра, я на обходе у засранцев» - просто и удобно. С тех пор для меня слово засранец не грубость, а вполне

корректное определение. Мы тоже очень быстро приспособились и ничтоже сумняшеся именовали себя засранцами. Я был свидетелем такой сцены – в кабинет врача постучалась эффектная дама и красивым контральто сказала:

- Можно войти? Я засранка из пятой палаты...

Даже если бы у меня не было других поводов запомнить этот стационар на всю жизнь, то и этого было бы вполне достаточно. Могу добавить красок - постельное белье было с фирменными желтоватыми не отмывающимися пятнами; почти у всех серых, как у эков, халатов просматривались сомнительного цвета разводы пониже спины. Что еще добавить – кормили ужасно, а передачи, увы, запрещали. В моде был перловый суп, он считался целебным, на второе рисовая каша, иногда пюре, мало отличающееся по цвету от наших халатов. Бывал - особенно по утрам – омлет. Мясо почти не попадалось, поэтому сказать, из какой птицы или животного оно было, я не могу.

Следующие несколько абзацев наиболее впечатлительные могут пропустить.

Самое ужасное – туалеты. То, без чего по роду заболевания мы обходиться не могли.

Женское отделение и, соответственно, туалет были на первом этаже. Два верхних мужских этажа должен был обслужить туалет для мальчиков на втором этаже. Должен был обслужить, но не всегда ему это удавалось.

Туалет по тем временам был школьный стандартный. Постамент из серо-бурого бетона, на семь посадочных мест – я хорошо запомнил это сказочное число, так как был дефицит. Овальные лунки, возле них небольшие наплывы – ступни, чтобы не промахнуться. Картина для многих знакомая. Напротив – желоб, этакий общий писсуар. У стены стояло два ведра с белой едкой жидкостью, в каждом палка с тряпкой. Недовольные могли полировать себе место сами. Но даже этих «удобств» не хватало. Засранок в стационаре было намного меньше, чем засранцев; это и понятно, женщины более аккуратны, как правило – не едят и не пьют где ни попадя. Но когда проектировали школу, кто мог такое предвидеть? Короче, у нас был иной раз такой ажиотаж и наплыв, что у некоторых не было выхода – либо бежать на первый этаж с извинениями, либо... Вам понятно, что означает «либо»? И бежали, и вежливо извинялись. Присоединялись. Говорят, страдальцев на первом этаже встречали с пониманием – общая судьба сближает.

А конечники для клизм? Их на моих глазах после предыдущего клиента споласкивали под краном – и снова в дело.

Я не утрирую, рассказываю о том, что перенес и видел собственными глазами. Обобщить свои воспоминания могу так – непрерывное, с каждым днем возрастающее чувство брезгливости. И впечатление общей вечной антисанитарии. Я был простым советским человеком; мягко говоря, не избалованным – вырос за шкафом, туалет во дворе, бабкины полаты и т. д., – но в больнице я понял, что в нашей жизни можно опуститься как угодно низко. Предела нет.

Тем временем наплыв страждущих возрастал, кровати стояли уже и в коридорах. Тогда администрацией – не знаю какой, но явно с согласия медицины – было найдено соломоново решение. А именно – некоторых засранцев нужно выпустить досрочно на волю. Я попал в число счастливцев – так я думал.

Исследовав то, что им было положено проверять, примерно через неделю после госпитализации, пришли к выводу – у меня была не дизентерия, а парадизентерия. То есть очень похожая, но не она. Мне щедрой рукой отсыпали пакет фталазола и наказали – двадцать дней принимать регулярно, соблюдать диету, не есть острого, жареного, горького и противного, никакой сухомятки, только тепленькое, жиденькое и вовремя. Дали три дня больничных – а потом на заводе я должен был соблюдать все, что перечислил, используя для диеты нашу столовую. Конечно, результат был предопределен заранее.

Но я обрадовался освобождению – впереди была встреча с Алей, и по сравнению с больницей полаты у бабки казались райским уголком.

Недолгая вынужденная разлука все-таки повлияла на наши отношения. Они стали менее экзотическими и более серьезными. Мы поняли – я смело могу говорить за двоих, – что действительно срастаемся. Мы не очень перепугались – молодые, здоровые, тем более что это вроде бы не дизентерия. Подумаешь - понос, в Поволжье этим трудно было кого-нибудь удивить. Скорее, мы оба отнеслись к этому слишком легкомысленно. Но все-таки почувствовали, что под богом ходим, а следовательно, стали не только радоваться друг другу, но и больше дорожить нашими отношениями. Я бы так эти изменения назвал.

А вот завод встретил мое возвращение с полным равнодушием. Там я определенно не срастался. Правда, утром собралась вокруг меня группка рабочих, соблюдая приличия, но один из них, Петька по прозвищу Пулеметчик – в честь сериала анекдотов о Чапаеве, – испортил всю обедню. Парень был противный, хитрован, притворяющийся эдаким простодушным наивняком. Он сказал:

- Быстро вы. И как ваш брат может так выкрутиться! Позавидуешь.

Я даже не сразу сориентировался.

- Какой брат?.. А, ты вот о чем. А ваш брат?

- А наши двое, из второго цеха, до сих пор в больнице. И говорят, еще будут трубить.

Народ вокруг изобразил согласие. Я хотел было сказать, что у меня оказалась не дизентерия, но понял бесполезность объяснений. На этом встреча закончилась. Мы разошлись – они по рабочим местам, а я закрылся в конторке.

Завод и город и до этого не пользовался у меня особыми симпатиями, а тут я почувствовал себя бесконечно чужим. Обидно, даже в болезни не нашел сочувствия...

Я думаю, что преувеличил важность этого эпизода. Болезнь, воспоминания о перенесенном, предчувствие, что это еще не конец, – все сыграло свою роль. Я не столько раскис, сколько ожесточился. Но, безусловно, приняла в этом участие и болезненная национальная мнительность – да, часто именно мнительность – еврея.

Я решил поговорить о происшедшем с Алей - раньше мы национальный вопрос не затрагивали. Но в последние дни мы стали куда откровеннее друг с другом, чем до моей болезни. Я рассказал о происшествии в цехе и спросил, пенял ли ей кто-то из подружек, что она встречается с евреем.

Аля с таким удивлением на меня посмотрела, что мне стало неловко. По-моему, она даже не сразу сообразила, что речь идет обо мне. Я понял, что в таком ракурсе она на меня не смотрела.

- Че вдруг? У тебя других забот нет? Че тебя это колышет? Странные вы, ей-богу. Зациклились.

И все-таки она задумалась, потом на всякий случай уточнила:

- Да никто пока толком и не знает, что я с тобой.

И я снова про себя отметил, что наша мнительность не слишком полезное и здоровое явление, но некоторые основания под собой имеет.

В свою очередь Аля тоже стала откровеннее. Раньше она о себе мало рассказывала, не очень любила делиться своими неприятностями. Я ее откровенность посчитал проявлением не только большего доверия ко мне, но и большей веры в наши отношения.

Жизнь у нее была непростая. Главное, что я узнал, – загадочная Алина тетка была не свободомыслящая, а пьющая. Секретарь Попов направил дочь к своей сестре то ли надсмотрщиком, то ли обслуживающим персоналом, а скорее тем и другим. Дом был на Але: уборка, готовка, расходы - абсолютно все. Она перехватывала бутылки, проводила воспитательную работу. И все-таки к вечеру тетка не очень замечала, что племянница исчезала.

К сожалению, так бывает, русские женщины могут не только коня на скаку остановить и войти в горящую избу. Алина тетка Нина была в их сельской поликлинике медсестрой, а после войны вышла за городского. Он работал в бригаде шабашников, что-то у них в

деревне строили. В городе у него была хорошая двухкомнатная квартира, родители – насколько я помню – погибли на войне. Нина после свадьбы переехала к нему. Парень был еще молодой, демобилизованный, прошел всю войну и ничего, кроме этой войны, не знал и не умел. А воли не хватило пойти учиться и как-то всерьез заняться своей жизнью. Он стал пить. Нина вместе с ним. Потом муж ушел пить к другой, слава Богу хоть детей не было. И квартиру ей оставил. Нина остановиться не могла, продолжала и без мужа, благо теперь оснований забыться стало еще больше. Из поликлиники ее уволили, устроилась дворником. Печальная картина. Но Аля говорила, что надежда у нее все-таки осталась. Нина временами останавливалась, несколько дней почти не пила, потом следовал длительный запой. И все-таки просветления становились чаще. Я думаю – это Алина заслуга.

Нелегко было девочке. А мне в поведении Али многое стало понятным. Перебраться на полати к бабке даже на время, для того чтобы помочь мне выздороветь, она не могла. О переезде к ней пока у нас даже мысли не возникало. Все продолжалось так же, как и раньше, но... напряжение нарастало. Я явственно слышал в воздухе какую-то тревожную ноту. А впрочем, скорей всего эта нота звучала не в воздухе, а в моем животе – там я все время ощущал дискомфорт, этот красивый термин применяется и в медицине. Нота звучала все громче и громче. Поиски чего-нибудь диетического в нашей столовой были заведомо обречены. Самым недовитым выглядел плов, но и он заправлен был, судя по вкусу и цвету, солидолом... Дело приближалось к неизбежному финалу.

Словом, не будем затягивать очевидное. Через неделю я попал на этот раз в настоящую инфекционную больницу с диагнозом «хроническая дизентерия», без всякого «пара».

Конечно, я возмутился, даже проворчал, что я этого так не оставлю – не слишком громко и не слишком буйно. Я был, как и говорил недавно, простым советским человеком и понимал, что добиться ничего нельзя, а портить отношения с врачами себе дороже. В ответ на мой скорее жалобный, чем скандальный протест ведущий врач пожал плечами и изрек бессмертный афоризм:

- Лес рубят – щепки летят.

- Так значит, по-вашему, я щепка?

- Но во всяком случае, не лес, - врач захохотал, довольный своим остроумием.

Во мне, несмотря на боль в желудке, на время проснулся одессит:

- Я думал, что врач должен лечить, а не рубить. Вы путаете профессии.

Он обиделся, а я больше не заедался.

Но Аля не сдалась. Она пошла в горздрав и под расписку оставила заявление, в котором была ключевая фраза: «не думаю, что парадизентерия за неделю может превратиться в хроническую дизентерию». Как сказано! Вот что значат тома прочитанной литературы! Бумажка свою роль сыграла. Меня положили в палату, рассчитанную на двух человек, третьим. Двое других были шишечками среднего калибра. И поэтому у нас был свой туалет и даже душ. Представляете себе?

Посетителей по-прежнему к нам не пускали, даже из окна посмотреть на Алю не было возможности. Но она мне писала записки-письма. Очень хорошие и теплые. И - кстати – грамотные. Оля – если вы помните – иной раз говорила вычурно. Аля говорила и писала просто, но хорошо. Органично. Я долго хранил ее записки и следовавшие за ними – я об этом еще напишу - письма, пока одна моя спутница жизни не «потеряла» при переезде чемодан с самыми важными для меня бумагами: фотографиями, патентами, грамотами. В том числе в чемодане лежала и пожелтевшая пачка старых писем, как пела в те времена Клавдия Шульженко.

Итак, судя по всему, моя условно-саратовская эпопея приближалась к концу. Запущенные внутренности упорно не хотели поддаваться лечению, хотя врачи старались и даже давали мне дефицитные лекарства наравне с моими соседями-шишечками. Короче

говоря, исчерпав свои возможности, где-то недели через три и даже немного больше меня выписали с длинным диагнозом: хронический гастроэнтероколит и плюс дуоденит и прочие более мелкие неприятности. Для не разбирающихся в медицине поясню: весь мой пищеварительный тракт от начала до конца был хронически воспален, местами язвочки, местами... Впрочем, хватит описаний, может быть кто-то эту книгу читает на ночь, и не у всех крепкая нервная система.

На этот раз наша медицина доказала, что она умеет не только ошибаться, но и давать очень точный и долговременный диагноз – хроническая так хроническая! И я этот диагноз без существенных изменений пронес через столетия и две страны. Я с ним сроднился. «Все свое ношу с собой» - это почти единственное, что я сохранил неизменным за долгие годы.

Если после первой госпитализации - «парадизентерии» - я не слишком изменился, то после серьезного лечения произошли не только внутренние перемены. Я за это время потерял десять килограмм. Аля, когда увидела меня, чуть не расплакалась. Но потом взяла себя в руки, приободрилась и сказала, что теперь я похож на Мефистофеля. Наверно, это был комплимент. Но она и в таком виде меня любит. О любви она сказала уже второй раз - первый был, когда нас застукал Додик. Но то было сказано с перепугу и для оправдания, а теперь волшебное слово вошло в обиход. Поэтому я с легкостью пропустил Мефистофеля мимо ушей.

Днем я пошел на завод. Мой мефистофельский вид тоже произвел впечатление. И главный инженер, прочитав выписку из больницы, сказал, что понимает ситуацию, сочувствует и готов не только меня отпустить восвояси, но и через местком добиться бесплатной путевки в подходящий санаторий. Все-таки у советской власти было две стороны медали, напрасно большинство с двух противоположных позиций видит только одну из них. Сочетались в этой власти странным образом бесчеловечность и человечность. Вторая правда намного реже, но все же была...

Этой же ночью на полатах состоялся серьезный разговор. Ситуация была настолько критической, что тратить время на недомолвки и излишнюю дипломатию мы себе позволить не могли. Говорили прямо и открыто. Начал я. Так продолжаться не может, если я не собираюсь покончить счеты с жизнью. Аля согласно кивнула. Нужно либо уезжать домой – за шкаф, либо... Тут я остановился. Что значит второе «либо», я не знал. Аля знала.

- Я предлагаю тебе руку и сердце, - покраснев, сказала она. Смутилась, но решительно продолжила: – Боря, без свадьбы ты у меня с теткой поселиться не можешь. Батя, родные... Да и я так не хочу. Одно дело встречаться, другое жить вместе.

Так интересно сложилась моя жизнь. Два раза я получил от любимых женщин, с которыми мог бы быть очень счастлив, предложения, и оба раза прошел мимо. А судьба так щедро продублировала ситуацию – щедро, несмотря на болезнь и лишения, – что у меня нет оснований жаловаться на нее. Я, между прочим, и не жалуясь. Наверно, не проявил должного терпения, понимания, настойчивости. Я знаю, что виноват... хотя до сих пор точно не понимаю, в чем именно.

Первый раз я проявил душевную глухоту, вы это знаете, а второй раз я все понимал, но решение действительно было слишком тяжелым. Але я так же честно, как она мне предложила руку и сердце, ответил:

- Я очень хочу жениться на тебе и ничего лучшего для себя не желаю. И дело совсем не в болезни. Я действительно тебя люблю. Очень. Но скажу прямо: жить в этом городе я никогда не смогу. И жить с твоей теткой – прости, я ее не знаю – тоже. Ни за что. Это рано или поздно все разрушит. И работать на этом заводе я тоже не хочу, а сейчас есть возможность уйти. Если останусь, кто меня потом отпустит? Мы должны с тобой уехать.

- Хорошо, уедем. Но сейчас перетерпим, ты выздоровеешь, подготовим переезд. Но будем вместе. Куда ты, туда и я... Но не очертя голову. Тем боле...

Долгий был разговор. Я ей объяснял, что временное решение самое долгоиграющее, это всем известно, что нас затянет, засосет, что я буду зол на все и на вся, что мы можем разрушить лучшее между нами и в короткие сроки. Кстати сказать, такое вполне могло быть...

Она с чем-то соглашалась. В чем-то я был согласен. Кстати, она сказала:

- Как я тетку брошу?

- И у тебя проблемы...

Потом в какой-то завуалированной форме спросила, не считаю ли я, что «мы гусь и гагара».

Я только молча и удивленно посмотрел на нее, а вам ответу – нет и еще раз нет. Она хороший, толковый, начитанный, а значит образованный человек. Я между этими двумя понятиями ставлю знак равенства. Если вы помните, когда я рассказывал об Оле, то тоже говорил об этом. В то время – наше время – начитанность была основным требованием к культурному человеку. Я знаю, что сейчас все изменилось, но я родом оттуда... Алины «че», «тем боле», даже мат были всего лишь акцентом, мимикрией к условиям жизни. Кстати, наш раздутый одесский акцент тоже во многом признак провинциальности, просто мы его уважаем...

А кроме того - такая привлекательная женщина, да господи боже мой, о чем речь!..

Я опять предоставил Але возможность подвести черту.

- А чего решать? Тем боле, тебе все равно нужно ехать лечиться. Дальше посмотрим.

Я догадывался, что она скажет именно это и именно такими словами. Мы уже хорошо знали друг друга. Но на сей раз фраза дались ей очень нелегко.

Словом, кто к кому и когда переедет, решили пока не уточнять. Жизнь подскажет. Главное, выздороветь. Намерение быть вместе даже не обсуждалось, настолько было очевидно обоим.

Но быстро отбыть на лечение мне не удалось. Медицина была против. Сразу после больницы с таким обострением в санатории не принимали. Требовали прежде всего ремиссии. И только благодаря угрозам Али, горздрав через неделю нашел санаторий в Дорохово, в Подмосковье, где было специальное отделение реабилитации.

Эту неделю я провел бы как у бога за пазухой, если бы не досаждали боли и прочие соответствующие диагнозу проблемы. Но Аля очень старалась, вертелась как белка в колесе. Дома после работы готовила диетическую пищу и, когда темнело, в баночках-скляночках переносила ко мне. Мы наши отношения не скрывали, но и не афишировали – все-таки я уезжал, а она оставалась.

Хорошая еда, а главное, забота делали свое дело – я стал потихоньку приходить в себя. Во всех смыслах. Даже пару раз поступало предложение:

- Миленький, давай спать. Мне рано вставать. А то мне придется тебя меньше кормить, раз ты так развоевался...

Мы оба и радовались, и переживали. Чего больше – не знаю. Однажды Аля мне спела:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там в стране далекой
Я буду тебе сестрой.

И на полном серьезе добавила – медицинской. Слух у нее был неважный, но должен же быть у человека хоть какой-то недостаток!

Я в ответ:

Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там в стране далекой
Нет у меня угла.

Именно в эту неделю я понял, что уезжая и увольняясь, не иду по пути наименьшего сопротивления. Наоборот. Здесь у меня любимый человек, худо-бедно жилье, хотя и с теткой Ниной, забота. Кстати, работа, что тоже немало. А дома в Одессе – ни работы, ни денег, ни здоровья. Великовозрастный балбес снова за шкафом? А родители уже привыкли жить одни. Помните, я описывал их кухню-ванную-туалет за фанерной перегородкой на полутора квадратных метрах? Все это после перерыва станет совсем невыносимо. Мама перешла на инвалидность и работает только на полставки. Пенсия - с гулькин нос, заработок сильно постаревшего отчима немногим больше. Я гол как сокол и снимать себе жилье – уверен – еще долго не смогу. Впереди меня ждали суровые испытания.

Неделя пролетела. На аэродром пришли меня провожать Аля и Додик. Андрей уже вернулся на работу, но мы оба не горели желанием встретиться...

Аля была непривычно тихой и серьезной. Помните, я говорил, что мне приходилось видеть и грусть на этом всегда живом и жизнерадостном лице – это был один из таких моментов. Она меня обняла и тихонько на ухо сказала:

- Ты помни, я баба здоровая и крепкая. Плохо будет – зови, пробьемся. Не рискуй здоровьем. Зови, прилечу. Главное – быть вместе.

16. Возвращение

Немного о моей не слишком успешной реабилитации. Климат средней полосы России мне всегда нравился, и я сразу же почувствовал отличие Дорохово от условного Саратова. Контраст во всем – свежесть воздуха вместо пыльных суховеев, растительность – луга, леса, рощи - вместо довольно чахлых и высохших под безжалостным солнцем (конец августа) побегов Поволжья. И чистота – в этом районе Подмосковья было чисто. Здание санатория было солидным, многоэтажным, с лифтом. Комната на двоих – беленькая, аккуратненькая. Пружинная кровать – помните, были такие - с матрасом по сравнению с раскладушкой и полатами, к которым я привык, казалась царским ложем. И был душ – теплая вода утром и вечером. И туалет. Мне нужно было тяжело заболеть, чтобы в двадцать четыре года впервые пожить в относительно человеческих условиях сначала в больнице, потом в санатории.

Ладно. В Дорохово я скучал по Але весь срок, а вторую половину с ужасом «предвкушал» скорую встречу с раскладушкой. Но в остальном, признаюсь, было хорошо. Я опасался, что компанию в реабилитации мне составят старички и старушки, но ошибся. Молодых было даже больше. «Хилая молодежь пошла», - пожаловался мне врач. Ничего удивительного, война и ее последствия действовали на самое слабое звено, трудно было закалиться и расцвести в тех условиях, которые нас сопровождали всю первую половину жизни. Но я повторяюсь...

Санаторий был большой, несколько зданий. Реабилитация занимала только два этажа одного из корпусов. Мне повезло с соседом - это был мужчина лет сорока, москвич, инженер, старый заслуженный язвенник, несмотря на свой относительно молодой возраст. Он немного подсох, но был еще хоть куда. Приехал за день до меня, но уже успел познакомиться с двумя «курочками» - тогда «телок» еще не было – и с ходу предложил мне любую на выбор. Любу или Машу. Кстати, предложил при них, сопровождая это жизнерадостным смешком. Реакция курочек была что-то вроде «мы шутки понимаем», но,

на мой взгляд, положительная. Я сужу хотя бы потому, что когда я по причине влюбленности не предпринял никаких легкомысленных шагов, то на меня посмотрели с удивлением. В нашей с трудом выздоравливающей компании, я имею в виду весь контингент больных, я был одним из немногих стойков. Даже врачи с завидным однообразием шутливо (ой ли?) предлагали пациентам вне зависимости от пола и возраста «найти себе пару – это лучшее лечение».

Вот что мы с вами, к сожалению, потеряли вместе с социализмом – это общедоступные профсоюзные дома отдыха и санатории. Туда ехали, чтобы поменять обстановку, а вместе с обстановкой и партнера. Ей-богу, это было почти официально. Такие страсти кипели в первые дни после заезда – боялись не успеть определиться. Я вспоминаю, мало было семейных пар в домах отдыха подешевле и попроще – в элитных все было немного иначе, не так демократично. А в обычных... Для супругов легкомысленное веселье вокруг было пыткой. Помню такую пару соседей по столу – как недобро он смотрел на жену и с какой завистью на воркующих голубков вокруг нас.

Увы, это все в прошлом. А жаль! Была наверно единственная, хотя и специфическая, свободная зона в стране. Острова искренности среди моря ханжества. Для гостиниц нужен был штамп в паспорте, снять квартиру невозможно и прочее, и прочее. А здесь формальности были ни к чему. Наверно, санаторные амуры сексом не считались, а просто одним из методов лечения. Судя по всему, помогало...

Мой боевой сосед сразу же предложил размен: я конспиративно переселяюсь к Любе, а Маша к нему - распространенный в те времена вариант. Предложение было благородное – Люба была моложе и красивее. Но я предпочел гулять на свежем воздухе. Гулять приходилось много – сосед был неутомим. Иногда мы прогуливались вчетвером, и тогда мои спутники много рассказывали о своих семьях. Как-то все удивительно сочеталось.

Сосед, после моего отказа, естественно выбрал более красивую Любу, и не прогадал. Люба уехала на неделю раньше нас, и Маша сразу же приняла смену. «Отряд не заметил потери бойца и яблочко песню допел до конца». А я решил, что Алю в ближайшие лет тридцать на отдых одну отпускать не буду.

И все-таки в Дорохово было хорошо... если бы не мой окончательно взбунтовавшийся тракт. Ни лекарства, ни процедуры, ни длительные прогулки на свежем воздухе не помогали. Выписывая меня из санатория, врач посмотрел анализы и все, что там было положено, и невесело покачал головой.

- Не теряйте надежды. Все еще утрясется.

Такое напутствие не могло вдохнуть оптимизм. А впереди? Вы уже знаете, что ждало меня впереди. Даже иной раз – признаюсь - глубоко внутри, на уровне подсознания возникало желание вернуться, сбежать к Але. Но я старался этим трусливым настроениям не поддаваться. В таком случае перед моим мысленным взором - как пишут в романах – немедленно возникал пейзаж города на берегу могучей реки (почему я его так невзлюбил, и сам не пойму), неизвестная мне тетя Нина, известный мне завод с Хлопушей и Петькой-пулеметчиком, - и всякие сомнения как рукой снимало. Нет, это исключено. Только вперед, а точнее назад в Одессу. Там разберемся.

Мое прибытие в Одессу не было триумфальным. Фанфары не звучали. Если продолжить древнеримские мотивы, то я скорее возвращался на щите, а не со щитом.

Мама была полностью в курсе моих дел. Знала о болезни, о планах вернуться домой – я подробно ей написал об этом из условного Саратова. Умолчал только об Але – вполне, на мой взгляд, естественно. И из Дорохова накануне вылета послал телеграмму. Так что сюрпризов не было. Дома был накрыт в ожидании дорогого сына довольно богатый – по тем временам – стол, и по мнению мамы, сугубо диетический. Отчим, как обычно, был на работе. Встреча была очень теплой, мы обнялись, мама даже немного прослезилась – еще

бы, год не виделись. Поулыбались друг другу, но особо бурного веселья не было. У каждого на то были свои причины. Мама знала, что я похудел, и все-таки мне удалось ее удивить. Я взглянул в зеркало - лицо мое так обострилось, что глядя на него в фас, можно было одновременно видеть профиль. Может поэтому, Аля назвала меня Мефистофелем. А мне невеселые мысли навевал шкаф. Он был придвинут к стенке и раскладушки за ним пока не было. Наверно, не успели.

Сели за стол, где я еще немного расстроил маму. Половину ее диетических блюд я побоялся есть. Начиная с царицы стола – тарелки чудного борща с молоденькой свининкой, мое в прошлом (и по сей день) самое любимое блюдо. Мама после этого поняла, что дело очень серьезно. Но не поддалась желанию всплакнуть, а очень оптимистично заявила, что теперь уж она на ноги меня поставит. Тем более, что она уже работает только до обеда – ноги и возраст... Зато время позаботиться обо мне есть.

Хватит говорить о грустном. В жизни обязательно должны быть перепады, в том числе и в хорошую сторону. Так и произошло. Короче говоря, мама сообщила мне самую радостную новость, о которой я мог только мечтать. Раскладушка за шкафом мне не грозила. Разумеется, ни у меня, ни у мамы с отчимом не было денег, чтобы снять мне жилье, и в ближайшем будущем изменений в этом направлении пока не ожидалось. Но голь на выдумки хитра.

Оказалось, узнав о моем возвращении, мама повела подкоп под соседку Женю, которая до сих пор подходящего жениха не нашла и по-прежнему находилась в процессе. Очень кстати оказался и недавний скандал, когда один из высоких, молодых и красивых (помните Женин контингент?), выпив лишнего, ломился к ней посреди ночи сначала в дверь, потом в окно. Посторонним третью комнату Женя сдавать не хотела, но... Я-то был не совсем посторонний. «Ты мальчика знаешь со школы (мальчик это я). Конечно, денег пока нет, но это вообще все временное, Боря устроится, он парень толковый... И боксер, между прочим, никто не сунется...» И так далее. А мама будет кормить нас с Юриком и заботиться об обоих как о родных.

Словом, сработало. Женя пока действительно относилась ко мне, как к мальчику, и я действительно был не совсем посторонним. Когда она вышла замуж, я был еще в пятом классе. Совсем пацан... Короче, меня ждала отдельная комната, душ, теплый туалет. Ну коммунальная, но я к этому привык, все мои друзья до сих пор жили в коммунах.

А теперь я попытаюсь для объективности противоречить самому себе. О трудностях и счастье. Видите, как все происходит – жизнь меня то казнила, то миловала. Сами попробуйте разобраться, что было кнутом, а что пряником. Это очень непросто. И поэтому лейтмотив предыдущих страниц – трудная жизнь в стране всеобщего счастья Советском Союзе, я заметил, в моем рассказе сочетается с еще одной темой. Я фактически все время веду сам с собой бесконечно старый спор – молодость, вне зависимости от расклада, всегда ли счастливая пора жизни? Молодость самоценна или зависит от условий не меньше, чем любой другой возраст? Принято, что воспоминания о молодости всегда светлые. Ведь это счастливые годы – любовь, надежды, силы. Это должно бы вспоминаться в первую очередь. Должно было бы... Возможно, это особенность моего характера, но когда говорят о прекрасной нашей молодости, я сначала содрогаюсь от общей картины прошлого, а уж потом вспоминаю счастливые мгновения. Может, так и следует понимать мои не слишком веселые размышления о том времени? По-моему, я оправдываюсь...

Я веду спор сам с собой не столько рассуждениями, сколько фактами моей жизни. Я и не претендую на обобщения, говорю о себе. Пытаюсь понять свое отношение... Например, полати с не слишком чистой бабкиной периной и мрачным запущенным коридорчиком – это кнут или пряник? Допустим, кнут. Но этот кнут позволял мне быть с Алей, а о такой

возможности большинство моих сверстников даже мечтать не могли. Тот же Андрей или Додик. Сколько счастья я знал на полатах? А чем кончилось?

В этом и сложность воспоминаний, что трудно поставить себя на свое же место в уже далеком прошлом. Только реминисценции, как сказал уважаемый мною Вильямс. Так что некоторый налет мрачного пессимизма, иногда возникающий на этих страницах, возможно в большей степени относится ко мне нынешнему, чем к нему, молодому и еще недавно здоровому.

Но все-таки есть вещи вполне объективные, откуда ни взгляни – жизнь и «система» с нами не считались и, походя, не глядя, калечили тех, кто не мог или не успел увернуться. Слишком многое от нас не зависело... Так что я лично – не скрываю – в вечном споре о самооценности молодости нахожусь в стане скептиков. Крайний пример, для контраста – можно ли считать счастливой молодость комсомольца, которому дан приказ на запад, а ей в другую сторону? «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой»? Глупо так думать, это молодость несчастная. И от того, что это молодость, все намного трагичнее и страшнее. Вы можете возразить – еще ужаснее, если и он, этот комсомолец, будет все это сознавать, ведь жизнь одна. Может, лучше иной раз не видеть реальности? Наверно так действительно легче, но не все на это способны. Это как вера в Бога, дано не каждому.

Надеюсь, я вас достаточно запутал? Можно продолжать сюжет?

После того как мама сообщила мне, что я отныне – хоть и временно – имею свое (свое!) жилье, обстановка за столом оживилась. Повеселело. Мы с мамой выпили по рюмочке коньяка – за здоровье. Этот тост был настолько актуальным, что пришлось выпить еще по одной. После чего я попросил вернуть на стол тарелку борща – гулять так гулять. Обед прошел в духе бодрости и оптимизма. И затянулся – нам было о чем поговорить.

Мама сказала, что мне пришло два письма из условного Саратова, почерк женский. Я в ответ многозначительно улыбнулся.

- Легкомысленный ты, оказывается, - одобрение звучало в ее словах.

А может, мне одобрение почудилось, потому что мама тут же продолжила:

- Я пару раз видела Олю. Хорошо выглядит.

Я как можно безразличнее спросил:

- И что было?

- Ничего. Очень вежливо поздоровалась и прошла дальше. Я один раз попыталась задержаться, но она сделала вид, что не заметила этого... Бедная девочка.

Я, разумеется, не был таким безразличным, каким пытался выглядеть. Все началось еще в Дорохово. Там воспоминания об Оле, уже, казалось, растаявшие в воздухе, как я писал раньше, стали постепенно приобретать плоть и кровь – разумеется, в переносном смысле. Это не влияло на мои чувства к Але, это было как-то само по себе. Но все-таки было... И в самолете, по мере приближения к Одессе, какое-то беспокойство нарастало. Наверно, Ньютон был прав, и притяжение действительно зависит от квадрата расстояний.

- Мама, это нужно забыть. Ты знаешь Олю. Она просто удалила из памяти и меня, и все, что было. Как больной зуб. – Я постарался быть объективным. – И ее можно понять.

- Можно. Но жизнь у нее покалечена. Бедная девочка. Прости, но я иногда думаю...

Она помолчала, собралась с силами:

- Может, ты слишком легко сдался? Ты ведь тоже виноват. Но все-таки пострадал не так, как она... Вот видишь, у тебя уже кто-то есть. А она... Бедная девочка. Ладно, прости. Отвыкла пить, говорю невесть что...

Я тоже отвык пить. Очень расстроился. Опять болезненное чувство вины пополам с обидой. Неужели не все закончено? Даже возникла мысль, что мои болячки наказание откуда-то сверху. За Олю, за Алю, за все. Определенно ослабел. Мистика не мое хобби.

Я твердой рукой налил себе еще рюмку под осуждающим и все понимающим взглядом мамы. Нужно было защищать себя и Алю.

- Ты знаешь, ничего нельзя изменить. Это невозможно. Сейчас у меня есть... человек, которого я люблю. И она меня. Замечательная девочка. Я не хочу, чтобы все повторилось.

Почему я заговорил о повторении – понятия не имею.

- Пью за моих женщин. За тебя и за Алю.

Мама налила себе в рюмку на доньшко, мы чокнулись, выпили. Я после перелета и загула почувствовал сильнейшую усталость. Мама постелила что-то на кровать, я лег, она чем-то меня укрыла. Затем дала мне два письма от Али – это был жест понимания и согласия. И ушла мыть посуду в тамбур.

Письма были не длинные – листик, исписанный с двух сторон. Я из Дорохово отправил ей уже три письма, по письму в неделю. Она мне писать в санаторий не должна была – письма идут долго, ей не хотелось, чтобы кто-то их читал... Я признавался ей в любви, она просила меня приехать и рассказывала, как ей без меня плохо. И дальнейшая переписка была в том же духе. Но в ее письмах чувствовалась нарастающая тревога и какая-то неуверенность, цельному и оптимистичному характеру Али совершенно не свойственные.

Кстати, я из Дорохово написал письмо, скорее записку и Додику. После по-мужски сдержанного описания моих болячек приступил к главному. Я просил его присмотреть за Алей, помочь ей, если будет нужно. Написал, что как только устроюсь на работу, заберу ее к себе. Ответа от него еще не было, письма тогда шли долго...

Прочитал Алины письма по второму разу. Еще немного расстроился, обвинил себя в том, что приношу людям одни беды – и тревожно уснул.

Мне снился сон. Как и положено сну, он был совершенно нереальным, какая-то фантазмагория. Мне снилась Оля, которая по-детски громко всхлипывала и кулачком размазывала слезы по лицу. Приснится же такое...

17. Черная полоса с национальным оттенком

Моя, или точнее почти моя, комната была примерно такого размера, как наша, но заставлена она была меньше, и мне показалась просторной. Там была тахта, довольно приличная на вид и мягкая, просто нужно было забыть, что на ней померла старушка. Был столик, три стула и даже шкаф – небольшой, зато мой личный.

Женя меня встретила очень приветливо, а с Юриком у нас всегда были хорошие отношения. Мама, как всегда, была права – Женя хорошая хозяйка, все было довольно чисто и ухожено. А ведь она помногу работала, и добавьте к этому неустанный процесс, условно называемый поиском жениха.

Женя была очень дружелюбна, сказала, что мы не чужие, потому что у нас общая мама Лилечка. Она предупредила, чтобы я простил, если она будет одета по-домашнему.

- Дом и есть дом, тут нужно чувствовать себя свободно. Иначе зачем он нужен?

- Только домашнее надеть не забывай, - засмеялась мама. Очевидно, и такое случалось.

Мама помогла мне обосноваться в комнате, разложила белье и вещи, заправила постель. А когда Женя вышла, дала инструкцию поведения с хозяйкой. Она сказала, что с любым начальством нужно быть покладистым и сдержанным, но ни в коем случае не пытаться быть на короткой ноге. Не набиваться в друзья, это плохо кончается. Нужно сохранять минимальную дистанцию. Она сослалась на свой опыт, но я понял, что в большей степени это относится к особенностям не слишком стабильного характера Жени.

Женя не была доброхотом, скорее была достаточно расчетливой, несмотря на широкие жесты – так очень часто в жизни бывает. Кстати, не жадной, а расчетливой, это не одно и то же. Просто она считала, что все должно быть выгодно, или того лучше – взаимовыгодно.

Мама говорила, что это профессиональные черты хорошего торгового работника. Дружба дружбой, а табачок врозь. Помню, как-то раз при мне в не очень трезвом состоянии Женя делилась с мамой своими экономическими взглядами.

- Есть такая поговорка - полюбить, так королеву, а украсть, так миллион. Насчет королевы я согласна, - она определенно имела в виду себя, - а украсть миллион полная фигня. Те, кто так думает, уже сидят. Красть нужно понемножку, но во многих местах. Везде по чуть-чуть.

У нее в этом направлении была интуиция и отличный быстрый счетный аппарат. Знаю на нашем примере. Она все решала мгновенно и безошибочно.

Брала она с меня за комнату в малогабаритной квартире в центре города примерно вдвое меньше обычных расценок. Да еще в долг. Но как честный человек, маму успокоила:

- Ты, Лилечка, не переживай, одолжения я тебе не делаю...

И действительно, мама убирала в моей комнате, потом коридор, ванную, туалет – вроде бы за меня, но регулярно, Женя делала это все реже и реже. Ванную, в которой мама тоже пользовалась душем, приводить в порядок ей сам бог велел. Юрик «столовался» - обедал, а иногда и ужинал вместе с нами. Правда, Женя что-то приносила из продуктов. Словом, как-то они с мамой договаривались, никто в обиде не оставался.

С этого дня быт мой был налажен наилучшим образом. Своя комната, общие, но очень неплохие «удобства», питание – и все это без моего личного участия. Мама стирала вместе со своим бельем и мое. Стирала вручную - стиральных машин тогда не было - в тазике у себя в квартире, Жениной ванной и водой не пользовалась. Она приличия и дистанцию соблюдала.

Но главное, что устраивало мою хозяйку, - теперь у Юрика было постоянное дежурство, и Женя могла завестись на ночь, даже никого не предупредив. А такое случалось, и нередко.

Всех это устраивало, кроме меня. Я с первого дня чувствовал себя нахлебником и захребетником. А ведь год тому такое положение – кроме отдельной комнаты – никого не смущало. Теперь статус мой изменился, в «ребенки» я уже не гожусь. Но главное было в другом – как и когда при таком положении вещей я смогу перевезти сюда Алю?

Этот вопрос задал мне и Додик. Его письмо, полученное через несколько дней после приезда, только добавило беспокойства. Он писал, что теперь Алю видит редко, преферанс распался. Но то, что он видит, не может не расстраивать. Она стала какая-то подавленная, ее вечная улыбка – помнишь прежнюю Альку? – куда-то подевалась. А в конце письма Додик просил сказать прямо, когда конкретно я могу за ней приехать. Между строк читался еще один вопрос – а собираюсь ли я вообще приезжать за ней? Я оскорбился, и может поэтому, на письмо не ответил. А может потому, что не знал, что сказать. Но скорей всего просто забегался – на следующий же день после приезда я начал поиски работы.

Все знают, что практически единственная положительная черта социализма - отсутствие безработицы. Это правило, но и в нем были исключения. И в данном конкретном случае я на советскую власть катить бочку не буду. Объективно в инженерно-техническом персонале Одесса не нуждалась. Город был одним из крупнейших институтских центров страны, многие высшие учебные заведения направляли своих выпускников даже за Урал. Этим летом закончила институты очередная армия – иначе не скажешь – специалистов, из которых многие пытались остаться в Одессе. И несмотря на солидный промышленный потенциал города, в те времена образовался естественный и немалый избыток итээровцев, так мы тогда назывались. То есть устроиться без знакомства или «лохматой руки» на инженерную должность было очень трудно. Многие мои одногодки признавали, что тот период был почему-то в Одессе особенно тяжелым. Правда, система автоматически в ближайшие годы этот дефект исправила, и безработица итээровцев сошла на нет. Как этого добились, я расскажу чуть позже. Для советской власти это не вопрос.

А пока - я влился в компанию безработных сокурсников, нас было человек десять-пятнадцать. Я имею в виду только своих знакомых, а вообще по городу слонялось группами и в розницу довольно много выпускников прошлого года. Плюс свободные дипломы этого выпуска. Помочь друг другу мы не могли, собирались на квартирах и играли в преферанс. Только к следующему лету пристроились кто где мог: кто раньше, кто позже. Почему был такой наплыв, не знаю; может быть потому, что начиналась хрущевская оттепель, падала дисциплина страха, и от назначений на работу в города и веси страны отлынивало все больше дезертиров.

Я пишу эти строки и одновременно пытаюсь вспомнить – а рассматривался ли тогда хотя бы теоретически вариант устройства на неинженерную работу? Нет, такая мысль даже в голову не приходила. Хотя без особого труда я мог бы стать временно, скажем, фрезеровщиком или токарем, и кстати, зарабатывать больше. И как-то получается, что все-таки я пошел по пути наименьшего сопротивления. Но это же можно отнести к большинству моих братьев-страдальцев, сидящих на шее у родных и обивающих пороги предприятий. В то время был удивительный массовый снобизм, правило практически без исключений. Объяснение этого феномена было одно - для чего так мучительно пробиваться в институт, чтобы потом ходить в замасленной робе? Вот вам сила и одновременно ущербность общественного мнения - по году искали работу и «не сдавались». Ни в рабочие, ни в клерки не шли, - это был позор и унижение. С дипломом можно было подаваться не по специальности только в искусство, в артисты, писатели.

Интересно сравнить эти принципы с нынешними, бескомплексными – никакая работа, кроме малооплачиваемой, не позорна, и никакого отношения диплом к ней не имеет. Особенно это проявилось в эмиграции - бывший ученый моет лестницу, а бывшая ученая чужие унитазы, и никаких комплексов, и никто на них пальцем не показывает, дело житейское.

Так может, поделом доставалось тем, кто отказывался от назначений? В какой-то степени поделом...

Этот абзац - моя очередная попытка проявить объективность.

Я уныло бродил по Одессе, униженно регулярно звонил начальникам отделов кадров и прочим начальникам: «Вы говорили, что можно позвонить к концу недели...» Наши знакомые надоедали своим знакомым – результата не было.

Так без всяких изменений и надежд прошел месяц, за ним другой. Ничего нового, кроме одного – правда, тоже не слишком нового. Не было дня, чтобы мне в той или иной форме не сообщали, что я еврей. Кто по-дружески, напрямую, кто без текста, только сожалеющим вздохом. Мол, и без того сложное положение на рынке труда, а тут поди ж ты, дополнительный и очень серьезный дефект. Вот один вариант отказа, очень распространенный, он должен был вызвать сочувствие:

- У дирекции и так большие неприятности по национальному составу организации, нам уже указывали на это в горкоме, - имелись в виду, разумеется, не узбеки и киргизы, такой контингент только приветствовался.

Или другая сценка.

Мамин директор, полковник в отставке, звали его – отлично помню – Иван Васильевич, позвонил своему другу, начальнику отдела кадров, тоже отставнику (обычное явление), и попросил принять на любую должность своего дальнего родственника. Отдел кадров завода холодильных машин – дело происходило там – был расположен в темноватом помещении, наверно поэтому наш отставник не рассмотрел мой гордый еврейский профиль. А может быть – и это скорей всего - ему в голову не пришло, что у самого Ивана Васильевича могут быть такие родственники. Я ему принес анкету, он на нее не взглянул

(сам Иван Васильевич!), сказал, чтобы я в понедельник к восьми выходил в конструкторское бюро. Он даже вышел меня провожать в коридор. Светлый коридор. Там он на меня озабоченно посмотрел и спросил:

- Скажите, а вы случайно не еврей?

- Случайно еврей.

- Тогда лучше перезвоните в воскресенье.

Я перезвонил, хотя мог бы этого не делать.

Мне ночью снилось, что я еврей. Просыпался, шел в какую-нибудь организацию, и убеждался, что так и есть – еврей.

Почему так было? Почему велась борьба с евреями? Ведь в любом деле должен быть какой-то смысл? Ну не пускали в оборонку – еврей может продать или предать. В водный институт – еврей может уплыть и не вернуться. Даже, допустим, в медицинский – эта вражья порода может убить из ненависти к гоям, писали же о деле врачей, а дыма без огня не бывает. Но ведь не принимали евреев – ни одного человека – в консерваторию. Чем там можно навредить – стать Ойстрахом или Коганом?

Тогда всем устроиться на работу было нелегко, но наш остракизм был узаконен свыше. Официально. Я помню позже, лет десять спустя, разговаривал с инспектором по трудоустройству – тогда уже были такие. У него был список организаций Москвы, и он откладывал лист за листом, приговаривая: «Сюда вашего брата не берут, сюда тоже, здесь не стоит время тратить». Осталось несколько листиков, малая толика. «Теперь можно смотреть, где есть места».

Нет, охрана государственных интересов не была причиной. Это, как говорил Жванецкий, не борьба и не результат. Я не работал в оборонке, не могу быть надежным свидетелем, может, там действительно процветали одни национальные кадры. Но я четверть века был конструктором в серьезных и солидных фирмах. И тут мое свидетельство кое-что значит. У меня в Советском Союзе ведущими конструкторами, главными конструкторами проектов и вообще техническими руководителями на удивление часто были евреи. Кстати, я был одним из них. Может, в их числе были полукровки – матери русские, но мы тогда в чистоте расы не разбирались. Еще не проходили высшую школу Израиля. Впрочем, был у меня один русский начальник бюро, но по фамилии Рабинович. Я знаю, что есть анекдот на эту тему, но – хотите верьте, хотите нет - это действительно правда. Я даже боюсь добавить, из опасения прослыть бессовестным лгуном, что в жизни был знаком с двумя русскими Рабиновичами... А вы говорите - анекдот!

Нет, здравого смысла во всей этой национальной борьбе не было. И не было результата. Было желание унижить. На мой взгляд, именно это в первую очередь и является антисемитизмом.

Я чуть выше уже упоминал, что мы, евреи, слишком закомплексованы, нам везде чудится этот антисемитизм. Как будто в мире нет других забот. Я, кстати сказать, особенно в последние годы стараюсь не злоупотреблять этим термином. Слишком часто евреи, в первую очередь израильские, приклеивают лейбл «антисемитизм» ко всему, что им не нравится. К любому, даже вполне обоснованному неодобрению в свой адрес.

Нам иной раз кажется, что любая мировая проблема в первую очередь должна рассматриваться с точки зрения «хорошо ли это для евреев». Долгое, даже точнее историческое унижение, мне кажется, сыграло с евреями дурную шутку. Отсюда вечные обиды в адрес всех и вся, кстати, несмотря на то, что согласно статистике в наше время евреи живут уж никак не хуже, чем люди других национальностей. И не всегда понятно, кто кого обижает. Наше израильское зазнайство, временами переходящее в ничем не обоснованное чванство - именно такова, по моему мнению, к сожалению, наша реакция на несправедливость. Естественная, даже по-человечески понятная, но очень вредная в первую очередь для нас самих. Нам бы следовало это понять... Око за око, зуб за зуб и хамство за

хамство – это принципы из одного ряда, и они неприемлемы для человека. Видите, я не согласен с Торой. Известно, что раб мечтает не о свободе – он жаждет отмщения. Точно так же униженный часто не ищет уважения – он хочет иметь возможность в свою очередь кого-то унижить. Мы этого не избежали.

Все эти рассуждения, как вы догадываетесь, взгляд сегодняшнего дня, безусловная реминисценция. А в то время я подобными сложными построениями себя не загружал. На ситуацию смотрел просто – за эти полгода я окончательно и бесповоротно превратился в антисоветчика. Я стал не только с антипатией, но даже с презрением относиться к советской власти. Только к власти, не к стране, потому что все плохое шло сверху. И государственный антисемитизм в Советском Союзе был всего лишь одной из причин моего отношения. Отлично помню - мне было очень жаль всех нас, вне зависимости от национальности, за то, что мы родились и умрем в этой тюремной «системе». Тогда даже в голову не могло прийти, что это когда-нибудь может закончиться.

Впрочем, если честно, то не совсем так. К народу тоже были вопросы. Я никогда особенно историей не увлекался, но был ли еще где-нибудь тиран, при котором миллионы гибли от голода, на самых богатых в мире землях, и его даже не пытались свергнуть? Был ли где-то в истории такой безответный народ? Именно безропотный голодомор больше всего меня поражает. Тут невозможно свалить на врагов, если вокруг не полные идиоты. Какие враги, кто их на полях видел? Страх не все объясняет, как ни стараемся. Смертельный голод любое самое трусливое животное бросит в отчаянную атаку. Все равно пропадать! А у нас не только восстания, даже покушения не было. Миллионы погибающих от голода, безропотные скелеты с именем Сталина на устах. Нет, в сознании это не укладывается.

С немцами нечего сравнивать. Там был эгоизм. При Гитлере народ жил хорошо, с победами – еще лучше... Нет, не знаю, с кем можно сравнивать. Даже не с жителями Камбоджи, потому что Пол Пота все-таки изгнали. А наш дожил до мавзолея.

А как же победы? Но может, в победах тоже немалая доля безответности и непротivления? Жертвы и снова огромные жертвы, сзади пулеметы заградотрядов...

Такие мысли, кстати, были у меня и тогда. Есть они и сейчас.

Время шло, ничего не менялось. Я привыкал просить, скромно склонив голову. Привыкал чувствовать себя дармоедом и захребетником. И здоровье мое по-прежнему оставляло желать лучшего, несмотря на регулярное диетическое питание. А как могло быть иначе? Всем известна пошлая острота, что все болезни от нервов, и только одна от удовольствия. И мой тракт, как и положено, очень чутко реагировал на душевное состояние. А оно было хуже некуда. Я немного приходил в себя, набирал килограмм-другой, потом какое-нибудь «а вы случайно не еврей» возвращало меня в исходную позицию.

Наверно, мой вид в то время вызывал серьезные опасения, потому что мама, несмотря на отчаянные протесты, повела меня к солидной докторше, известному гастроэнтерологу. Разумеется, за деньги – ума не приложу, откуда она их взяла. Да, я пытался отказаться, но мама так бледнела – у нее стало пошаливать сердце, - что пришлось смириться. Я ходил к врачу месяц, пил таблетки, отвары и микстуры. Через месяц доктор мне сказала – почти дословно, – что она мне помочь не может, а брать деньги без результата ей совесть не позволяет. После этого резюме у меня неделю был понос – наверно, все на той же нервной почве, и я с трудом вернулся в исходную, хоть и не блестящую позицию.

Радость в моей жизни была в то время одна – переписка с Алей. Но постепенно становилось ясно, что и там возникали проблемы. Она по-прежнему звала меня к себе, а последнее время даже с каким-то отчаянием. Для отчаяния были основания: я никакими конкретными сроками ее порадовать не мог. Вместо этого я писал, как люблю и как хорошо

нам будет, когда мы будем наконец навсегда вместе. А что я мог сказать? Исходя из реальности, эти картины выглядели слишком абстрактными. Ее письма не становились суше, скорее наоборот, я чувствовал, что без меня ей становится все труднее. Это можно было прочесть не только в каждой строке, но и между строк. Но у меня возникали опасения, даже страх, что все как-то неожиданно оборвется, что такое состояние долго продолжаться не может. Были у меня и мысли другого рода - увы, мое фирменное стремление бросаться из стороны в сторону. В конце концов, я делаю, все что могу, и может, не стоит до такой степени нагонять ажиотажа, весь этот темперамент удивителен для уравновешенной и здравомыслящей Али. Конечно, меня радовали такие ее чувства ко мне, но... Ведь есть ситуации в жизни, когда нужно проявить терпение. И надежность. Это все тоже обязательные спутники любви. Я стараюсь, я болен, в конце концов. Как-то она даже намекнула, что хорошие и необременительные условия, в которых я живу, не подгоняют меня хвататься за любую работу. У меня не горит, а у нее... как-то получалось, что у нее горит. Это было несправедливо, я обиделся. И написал, что если любишь, нужно уметь ждать, терпеть и верить.

Когда я это письмо отправил, то вспомнил, что когда-то уже говорил эти же слова другому любимому человеку. И появилось нехорошее предчувствие. Оно сбылось через две недели. Я получил от Али письмо, где вместе с обычными «миленькими» и «родненькими» было и новое содержание. И тон новый – спокойный и рассудительный. Это была прежняя Аля, все понимающая, прочно стоящая на земле. А суть письма была следующая. За это время она поняла, что перспективы у нас неопределенные. В ближайшее время нет никакой надежды, что она сможет переехать в Одессу, ведь это означает сесть на шею пока безработному и больному человеку. И в том же ближайшем будущем, даже если я найду работу, на мои 90 рэ снимать жилье совершенно нереально. Если бы я в первую очередь хотел быть вместе с ней, то вернулся бы к ним, тогда все проблемы бы решались. Была бы семья, и квартира, и работа. Потом можно было бы решать все остальное, даже Одессу (в минуты слабости, признаюсь, я это себе тоже говорил и примерно теми же словами). Значит, она не самое главное в моей жизни. Поэтому, миленький, делала она вывод, давай перестанем терзать душу, давай прекратим переписку и самообман. Ей тоже нужно как-то решать свою жизнь. Она не может быть вечно посмешищем для всех.

Это был удар. Не хочется плакаться в жилетку, скажу только, что до сих пор удивляюсь, как это письмо в сумме со всем остальным мне удалось перенести...

Я написал ей любящий, жалостный и обиженный ответ. Почему сесть на шею? Напомнил, что она сама сказала, что если будет плохо, то я всегда могу надеяться на нее. Мне без нее не просто плохо, а невозможно. Обиженно заметил, почему с Андреем она не была посмешищем, а со мной стала, хотя о нас никто, в сущности, не знал, а о нем знали все. Это было некрасиво сказано, но куда денешься, написал. Ревность не слишком благородное чувство.

Я ей много чего написал. Не было в письме только самого главного – я не приглашал ее в Одессу (это было невозможно)... и не соглашался вернуться в условный Саратов.

Ответа я не получил. И тогда неожиданно для себя... я смирился. Конечно, не с тем, что Аля для меня потеряна - этой мысли я не допускал, а с тем, что мы прервем - на время! – переписку. Может, так будет лучше, нельзя же непрерывно рвать душу, объяснять и оправдывать очередной перенос сроков. И это будет проверкой прочности наших отношений, хотя в своих чувствах я не сомневался.

А может, просто я был ослаблен болезнью и устал? Я не хочу объясняться, каяться. Я просто пишу то, что было. Вам судить.

Я иногда думал – может ли судьба еще приготовить мне сюрпризы? Может ли быть что-нибудь хуже того, что со мной происходило? Или полоса жизни была настолько абсолютно черной, что изменения могли быть только в одну сторону – в светлую?

Все встречные и поперечные мне говорили, что я «неважно выгляжу». Народ вежливый. Даже железобетонная Оля, которую я случайно встретил на улице впервые месяца через три после возвращения в Одессу, поздоровалась, прошла дальше, потом неожиданно для меня и, наверно, для нее самой задержалась и сказала:

- Боря, ты неважно выглядишь. Что-то случилось?

Правда, ответа она не стала дожидаться и ушла. А мне почудилось в этих ее словах что-то человеческое. Вот тогда я понял, насколько плохи мои дела и какое впечатление я произвожу на окружающих. И обратил внимание на то, что я на Олю – как на Олю – даже не отреагировал. Можете себе такое представить? Я понял, что нахожусь на самом дне. И впервые за время болезни ощутил за спиной даму с косой...

Еще я понял, что еврей с такими внешними данными не должен искать работу. Никто мне ее не даст. Нужно было взяться за себя, пока еще не поздно. Нужно было первое - проявить волю, и второе - сменить хоть на время обстановку.

18. Зуб мудрости

Я давно выяснил для себя, что когда приходишь к твердому решению, то сразу появляются и соответствующие обстоятельства. Так было и на этот раз.

К нам приехала тетя Лена, ей нужно было сделать какое-то медицинское обследование. Они с бабушкой, как и до войны, жили в Головном и в том же самом доме. Тетя Лена суровым судейским глазом посмотрела на меня и решительно сказала, что мне недельки на две-три нужно поехать к ним в деревню и привести себя в порядок. Для надежности она тоже добавила – пока не поздно. Судья – хоть и бывшая - Полонская никогда не миндальничала.

Мы с мамой переглянулись и, не сговариваясь, решили – ехать нужно. На трудовом фронте легко на это время обойдутся без меня. Билеты на поезд стоили недорого, а прокормить меня в селе смогут. В украинских деревнях жили не богато, но сносно, во всяком случае по сравнению с каким-нибудь Саратовом или российской глубинкой. Тем более у тети Лены была неплохая пенсия, а ее сын – мой двоюродный брат Гриша - работал каким-то начальником на машинотракторной станции и жил недалеко, в райцентре. Без помощи бабушка с тетей Леной не оставались.

Перед отъездом я получил еще одно письмо от Додика. Очень жесткое. На удивление. Он естественно обиделся, что я «не соизволил» ему ответить. Но черт со мной. А пишет он потому, что недавно встретил Алю и был просто поражен. При встрече она расплакалась. Ты помнишь нашу Альку?! Можно было представить себе ее плачущей, черт бы тебя побрал? Уже четыре месяца, а она все ни вдова, ни мужняя жена. Как людям в глаза смотреть? Далась им эти люди! Да и сколько там народу знало о наших отношениях? Додик, не стесняясь в выражениях, требовал от меня ответа – когда и как? Я снова не ответил - открывать второй фронт сил у меня не было.

Еще через день я с удовольствием ехал по знакомым местам сначала в обычном поезде, потом по узкоколейке с маленькими вагончиками и каким-то совершенно игрушечным паровозиком. По местам, знакомым не только до войны. Я вам еще не рассказывал – к слову не пришлось, – что после войны каждое лето до седьмого класса проводил в Головном. Из двух зол – пионерлагерь или деревня – я выбирал второе. Впрочем, это не совсем правда. Головное я злом не считал. Там меня многое привлекало. Во-первых, свобода, мы бегали, где хотели и когда хотели. Роща, которая тогда казалась лесом, была недалеко, там можно было искать грибы и ягоды, хотя найти их почти не удавалось. Был неподалеку пруд, где мы купали лошадей пожарной станции. Словом, все те деревенские радости, которые мы видели в кино или о которых читали в книгах.

Правда, были и тяжелые моменты. Вот один из них - однажды летом при мне проходили перезахоронения убитых в соседнем лесу евреев. Это была ужасная неделя. Над селом стоял непрерывный громкий, отчаянный плач, не замолкавший ни на секунду. Тяжелая неделя. Подробно об этом говорить не хочется, но и забывать нельзя. Тем более мне, который согласно статистике должен был быть среди убитых, а то, что я оказался жив, всего-навсего статистическая погрешность. Но я об этом уже говорил...

У бабушки и тети Лены была двухкомнатная квартира с большим коридором, ведущим к парадному входу. Этим входом почти не пользовались, ходили с заднего двора. И все коридорные апартаменты были отданы в мое распоряжение, там была моя раскладушка, столик и табуретка. Правда, еще в углу стоял сундук, сверху чемоданы, какие-то вещи – но мне это не мешало. Я даже мог входить и выходить, не беспокоя бабушку, которая спала в гостиной, она же кухня, она же столовая. Все было хорошо, мы жили в мире и согласии.

Но больше всего в Головном в детстве меня привлекала компания, которая собиралась, когда темнело, на крыльце одного из соседних домов. Собиралось обычно человек пять, но постоянными участниками были трое. Две девочки, светловолосые, высокие – выше меня едва ли не на голову, в этом возрасте девочки всегда выше, а я тогда был из маленьких, об этом, кажется, уже упоминал. Девочки были статные, на мой взгляд – очень красивые. Одна старше меня на класс – по ней я вздыхал, а вторая, ее родственница, мой одноклассник – по ней бы я тоже вздыхал, если бы не было первой. С гордостью скажу, что и они меня отличали. Не только потому, что я городской. Мы собирались по вечерам, и я им пересказывал какую-нибудь книгу. Моя увлеченность старшей девочкой и дополнительно младшей делала меня хорошим рассказчиком – больше в моей жизни такого не случалось. Можно сказать, я заливался соловьем.

Я не сочинял истории, у меня – это доказала вся моя дальнейшая жизнь – таких способностей не было. Ни Луиса Кэрролла, ни Роберта Штильберка, которые записывали рассказанные ими истории и становились известными, из меня не вышло. Но я много, запоем читал, была хорошая память, язык подвешен, плюс вдохновение. Пересказывал им «Квентина Дорварда», «Роб Роя» – это помню хорошо. «Всадника без головы». Единственные усовершенствования в тексте, которые я себе позволял, – героини были в моем описании удивительно похожи на старшую. Если там была подружка героини – то и на младшую. Это очень ценилось слушательницами. Летом после шестого класса я почувствовал ответную симпатию старшей, и, когда темнело, брал ее за руку. Если она руку отнимала, то рассказ становился скучным, рассказчик начинал запинаться, путаться. Приходилось ей руку возвращать, и тогда все шло как по маслу. А ведь я тогда до «Красного и черного» Стендаля еще не добрался, пример с Жюльена Сореля не брал, сам сообразил. Накануне отъезда мы поцеловались – она сверху, я снизу.

Но гвоздем вечерних программ, как ни странно, были сказки Гофмана, они пользовались большим успехом в пугающей темноте. Я Гофмана тогда любил и... понимал. Став старше – признаюсь, - понимать перестал. Оказывается, и такие чудеса возможны.

Когда я приехал летом после седьмого класса, то узнал, что старшая девочка перебралась из Головного куда-то с родными. Компания рассыпалась. Это было последнее мое лето в деревне. Конечно, причиной было не только разочарование в связи с их отъездом. Я становился старше, у меня в городе появились свои интересные дела.

Обратите внимание, я пока ни о каких романтических приключениях, которые были до Оли и Али, толком не рассказывал. Они не очень запомнились, прошло с того времени много лет и много событий. А эту пастораль я пронес неизменной в памяти – приходится пользоваться затертым выражением, лучше придумать не могу – сквозь всю свою долгую жизнь.

Мне кажется, я и сейчас вижу нашу компанию на крыльце: я сижу на верхней ступеньке, ниже на ступеньку, но головой вровень сидит старшая, еще ниже все остальные,

я их внешность уже не помню. А себя помню, я такой, каким был на фотографии нашего пятого класса. Непослушные светлые вихры торчат, не поддаются гребенке, тип лица, пожалуй, славянский, даже немного деревенский, и нос короткий, едва ли не курносый. Вот такой типаж.

У меня была одна интересная особенность – я три раза в жизни так резко внешне изменялся, что меня переставали узнавать даже знакомые. До шестого класса был описанный мною деревенский период. Я в самодеятельности играл Ваню-пастушка – Ваню Солнцева по «Сыну полка» Катаева, героически погибающего Ваську из «Повести о суровом друге» Жарикова (если кто его еще помнит), и ни у кого из зрителей это никаких недоумений не вызывало. А на фотографии девятого класса я уже совершенно другой. Во-первых, очень вырос, во-вторых, удлинилось лицо, а заодно и нос. Волосы стали каштановые, густые и довольно волнистые, легко укладываемые в прическу. В общем, тип лица определенно стал семитский, но не смугло-южный, посветлее, потому что мои родители были евреями литовского происхождения. Теперь Ваню-пастушка я бы играть не решился. Когда тетя Лена приехала к нам летом после десятого класса, то снова посмотрела на меня суровым судейским глазом и в упор спросила:

– Ты покрасил и завил волосы? - так велик был контраст с теми светлыми вихрами, которые я привозил к ней в седьмом. О носе она не спросила.

Это была первая перемена.

О второй вы знаете – я его называю мефистофельский период. Эту внешность с небольшими улучшениями я сохранил почти до пятидесяти лет, когда мне наконец удалось бросить курить. И тогда тоже резко, года за два, а то и меньше произошло третье превращение - я набрал килограмм тридцать и приобрел округлую форму лица и туловища во всех проекциях, а вместе с ними вальяжную неторопливую манеру поведения. И снова те, кто знал меня раньше, перестали узнавать в новом обличье.

Это все правда, ничего я не выдумал, разве что излишними подробностями затянул повествование.

Итак, мы приехали в Головное. Там мало что изменилось. Многие мои знакомые ребята и девочки уехали учиться в институты и не вернулись. Роща и ставок стали казаться поменьше размерами, вместо коней на пожарной станции стояла машина. Вот, пожалуй, и все перемены.

Руководить мною стала бабушка. Прослушав мое диетическое меню, все это жиденькое, жеваное, вареное-пареное, она сказала, что так я скоро протяну ноги. Что когда у человека что-то ломается, скажем, рука или нога, даже сердце, то нужно его нагружать, чтобы вернуть к жизни. И стала кормить по своему разумению. Все как обычно, только не сильно жареное и не слишком жирное. А в обед мне выдавалась флотская норма – рюмка чистейшего самогона, а в нем было что-то подмешано. Что именно – мне бабушка не рассказывала. Впоследствии она призналась, что ничего интересного там не было, просто она хотела, чтобы я смелее пил самогон с якобы целебными травами. Она разбиралась в психологии и знала, что любая болезнь – помните? - кроме одной, от нервов, просто в другой формулировке, не такой современной.

Помогло ли мне это – не знаю, но хуже определенно не стало. Я за время болезни научился внимательно следить за своим организмом днем и ночью – даже во сне. Где заболит, где защемит, где дернет, где булькнет. И так далее. Нет, кажется, действительно хуже не стало. Впрочем, времени добросовестно оценить результат не хватило - у меня начал прорезываться зуб мудрости. Поздновато, но это наследственное. У мамы последний зуб мудрости появился в тридцать семь лет.

Процедура оказалась болезненной и затяжной.

Первую неделю мы – включая сельского зубного лекаря - не знали, что происходит, почему опухла и заболела десна в районе самого крайнего нижнего левого зуба. Этот зуб

сам не болел, когда по нему постукивали и поливали холодной водой – вам знакома такая метода. Я был твердо уверен, что у меня все зубы давно на месте, а наш старенький коновал не стал их пересчитывать. Лекарь решил, что это какая-то инфекция. С его подачи я неделю регулярно – каждый час - полоскал рот какой-то гадостью. Лучше не становилось. Болело достаточно сильно и надоедливо, хотя не так, как острая зубная боль, когда лезут на потолок. Потом появился приличный флюс. Я участил полоскание – не помогло. Еще через неделю коновал (пусть он меня простит, но в памяти сохранился под этим названием) наконец наступил на горло собственной песне и отправил меня к конкуренту, у которого был рентген. Там-то и выяснили, что это растет зуб мудрости. Конкурент мне предложил надрезать десну, но я категорически... Я очень боюсь зубных врачей, а кто их не боится?

Короче, полоскание продолжалось с прежней интенсивностью. Я полностью переключился на новую процедуру. Кушать каждые полтора-два часа и подолгу пережевывать пищу – как мне советовали врачи – уже не получалось. Ел, когда меня звали, не слишком вникая в содержимое. Флотские сто грамм принимал с охотой, полоскал ими десну и проглатывал. Разумеется, самогон, а не десну.

Только к концу третьей недели на поверхности показался ребристый твердый кусочек, его можно было пощупать, и у меня появилась наконец уверенность, что прогноз правильный, это действительно зуб. Потом я позволил конкуренту коновала кое-что почистить, и наступило облегчение. Но воспаление полностью еще не прошло, я продолжал полоскать, но уже реже. Словом весь отдых провел в трудах праведных. Но все равно пора было и честь знать, я начал собираться домой. И тут как-то бреясь, обратил внимание, что на правой щеке тоже появился флюс, небольшой, но вполне заметный. Это уже было чересчур – еще на один зуб мудрости у меня вакансий уже не было. Я с испугом сообщил об этом бабушке и тете Лене. В ответ те посмеялись над моими страхами и предложили стать на весы. Три килограмма живого веса, даже с лишним, я добавил за двадцать дней!

С этого началось движение в обратную сторону. Я приобрел не только зуб мудрости, но и саму мудрость. Я понял - надо по возможности не прислушиваться к бульканьям и даже болям, верить, что обострение пройдет. И главное, понимать, что мне с этим жить. А значит не злоупотреблять не только сильно жареным и острым, но еще в большей степени диетами. Нужно стараться жить, как нормальный человек с немного (а иногда прилично) ненормальным желудком. Плюс – уже надолго – необходимый минимум лекарств. И смириться. Что – сообщаю с гордостью - я в основном (хотя были и срывы) выполнил. Не удалось мне только покончить с курением. Я боролся с ним по методу Марка Твена – бросал сотни раз.

По настоянию бабушки, я остался еще на неделю, подобрал по дороге килограмма полтора - с этим и поехал домой. Мамина счастливая улыбка подтвердила результат.

19. Консервы непрерывного действия

После возвращения я с новыми силами стал обходить различные организации и килограмм из накоплений потерял. Но все-таки стал смотреться не столь ужасающе, да и распускаться себе больше не позволял. Появилось больше оптимизма, причем обоснованного. Дело в том, что затор в области «трудовых резервов» - так мы себя называли – стал постепенно рассасываться. Но, естественно, не потому, что партия и правительство проявили какую-то разумную инициативу. Это было скорее следствием хрущевского волонтаризма, очень активно поддержанного на местах заинтересованными лицами. Примерно с этого времени началось массовое размножение всяких НИИ, СКБ, ЦКБ, проектных институтов и прочих, чаще всего бесполезных организаций, размножение огромного ненужного в таких количествах класса итээровцев и псевдонаучных работников.

Почему ненужного? Для сомневающихся в этом напоминаю – в девяностых этот класс исчез бесследно, и никто потери не заметил.

Все-таки мы по-своему были довольно ограниченными людьми. Почему мы умилялись отсутствию безработицы при социализме? Дать рабочие места в любом количестве особенно для итээровцев было проще простого – помещение, столы, иногда кульманы, стулья, по два-три метра на человека – и порядок. Есть новое КБ! А зарплата вообще проблем не вызывала, потому что все деньги страны были в одном кармане. Нужно было только немного перераспределить – от одних немного забрать и вновь назначенным дать, и тоже немного. Только и трудов!

Небольшие бюро при заводе отделялись, называли себя Специальными или Центральными, или Научными, или еще какими-то и расширяли штаты. Начальство увеличивало себе зарплату. Возникали как на дрожжах новые. Начинали выдавать на-гора горы, простите за тавтологию, бумажной продукции, а изготавливать всю эту чепуху никто не собирался. Заводы десятилетиями выпускали допотопные несовременные изделия и менять ничего не торопились.

И слава Богу. Это было время идиотских проектов и организаций. Возникали удивительные новые коллективы. Например, стоило Хрущеву сказать, что где-то за границей используют камыши, как появилось целое солидное СКБ камышеуборочных машин. Там получали зарплату, чертили, мерили в туалете наряды (женщины), курили (мужчины и женщины), а их ведущие метались по Украине в поисках камыша, чтобы хотя бы увидеть его вживую.

В марте 1959 года пришел и мой черед. Меня приняли во вновь созданное СКБ пищевого машиностроения. Еще год назад это был скромный заводской конструкторский отдел из 10-12-ти человек. Завод не один год выпускал тройку-другую наименований и кроме каких-то новых заплат на старых изделиях ничего усовершенствовать не собирался. А сто двадцать новых конструкторов нового СКБ требовали широкого фронта работ. В свою очередь новые расширенные научно-исследовательские институты должны были на кого-то спускать продукты своей жизнедеятельности. Те и другие понимали, что до производства дело не дойдет, и это давало полную свободу творчества. Я надеюсь, что бывшие соучастники, дожившие до наших дней, мои слова подтвердят. Веселое было время.

Были и серьезные организации, но относительно немного. Не случайно к перестройке мы пришли со всем, что только возможно, очень устаревшим, даже в оборонке. Пришли Верхней Вольтой с атомными бомбами и спутниками. Этого, кроме Проханова со товарищи, никто и не отрицает. Такое положение закладывалось в хрущевские времена и с успехом продолжалось при Брежневле.

То, что разрабатывал наш отдел, было просто удивительно. Вы помните, как в голливудской фантастике показывают технику будущего – все блестит, металл сверкает, что-то крутится, горят огни, масштабы... Нечто подобное рисовали мы и примерно с той же приближенностью к реалиям.

Сооружение из нержавеющей стали, метров восемь-девять в длину и четыре в высоту называлось «Стерилизатор консервов непрерывного действия». Для стерилизации нужна вода с температурой выше ста градусов, а значит и давление выше атмосферного. Поэтому внутри предполагались – мы это рисовали – герметичные вертикальные отсеки с горячей водой и перегретым паром под давлением, по отсекам вверх-вниз петляют две цепи, тоже из нержавеющей стали, на вес золота. Таких не было нигде в мире, только у нас на бумаге. Между цепями висят корзинки с консервами. Сложная автоматика, чуть что не так – все это добро выплеснется наружу вместе с перегретым паром. Полторы тонны кипятка! Уму непостижимо! И последний штрих - в начале и конце этого монстра должны были стоять две бабки и вручную загружать и разгружать корзинки. Даже в названии проекта

«Стерилизатор консервов непрерывного действия» была нелепость – непрерывного действия консервы или стерилизатор?

Этот проект имел одно хорошее свойство – никто даже не заикался о его изготовлении. А работы целому отделу на два года хватило.

Соседний отдел разработал машину-убийцу для разгрузки зерна из вагонов. Она въезжала в вагон, взмахивала могучими чугунными крыльями-пантографами, сносила все на пути. Представляете себе – нажал не на ту кнопку, и в стороны летит таран. Еще до испытаний она чуть не убила ведущего конструктора. Он еле удрал от своего творения. К тому же оказалось, что у машины была лишняя неучтенная степень свободы, и при приемной комиссии она билась о двери, о стены вагона как... как... огромный птеродактиль. Все разнесла.

Ее похоронили на заднем дворе завода, подальше от глаз, там она ржавела несколько лет...

Веселое было время. И безответственное, если не касаться политики. А мы и не касались. Оттепелью интересовались другие люди...

Я овладевал потихоньку конструкторской техникой. Овладевал специальностью. Все было более-менее спокойно, и национальный вопрос практически не возникал. Разве что кто-то на улице или в автобусе высказывался, но на это мы уже не реагировали. Конечно, невозможно было забыть унижительные прошедшие полгода поисков работы, это был солидный довесок к уже накопившимся в душе обидам, но я по возможности старался на этих мыслях не заикливаться. Была своя комната, была работа, то есть объективно все возможности для нормальной советской жизни. Я даже стал потихоньку набирать вес и приходиться в себя.

Считался ли я хорошим конструктором? Это зависело от места работы. Чертил я всегда довольно плохо, даже если старался. Но соображал вроде прилично, это все понимали. Я бы мог сейчас сказать, что, будучи творческой натурой, даже не пытался добросовестно заниматься работой, которая не имела ни смысла, ни применения. Но мы договорились быть по возможности объективными. И даже честными – тоже по возможности. Поэтому скажу, как было на самом деле. Было все по сути так же, а по побудительным мотивам наоборот. Сейчас объясню.

Я в принципе - подвожу итоги - человек ленивый и недисциплинированный. Только если мне по-настоящему интересно, я могу преодолеть свою лень, а недисциплинированность ни при каких обстоятельствах.

Моя работа, безусловно, интереса вызвать не могла. Спустя несколько месяцев я уже скучал, с нетерпением ожидал конца рабочего дня, а в промежутке курил, трепался с соседями, только время от времени становясь к кульману. И я не был исключением в нашем трудовом коллективе, скорее правилом.

Наверно от скуки я согласился стать членом месткома. Думаю, меня выдвинули потому, что было заметно мое не чересчур подобострастное отношение к начальству.

А что я делал после работы, кроме, разумеется, чтения? Находил себе занятия, чтобы не предаваться невеселым мыслям. В те времена тусовок и корпоративов еще не было, не было компьютеров и телевидения, но – хотя сейчас без этого жизнь трудно себе представить – взамен были другие и, главное, бесплатные возможности. Я уж не говорю о книгах, которые – представьте себе – читали даже молодые люди. Театры и концерты стоили на удивление дешево, кино – вообще почти даром. Спорт – тоже бесплатный, различные кружки по интересам – за ту же цену. Пожилые люди наверняка смогут продолжить список. Я упаси бог не агитирую за советскую власть, просто, как уже не раз говорил, стараюсь быть объективным.

Два раза в неделю я посещал тренировки по боксу для любителей, где большей частью занимался физподготовкой и старался избегать ринга – опасался за нос. Зал бескорыстно и с дорогой душой нам предоставляла какая-то общественность, хороший, уютный зал, хотя догадывались, что спортивных успехов от нас ожидать не приходится. Кажется, это было спортобщество «Трудовые резервы». Вот такое, господа хорошие, было время.

Моим любимым то ли занятием, то ли развлечением на тренировках была игра «попади в меня». Я какому-нибудь начинающему или малоопытному боксеру предлагал попасть мне в голову. При этом я не защищался и даже был без перчаток. Человеку, далекому от бокса, трудно представить, насколько это сложно, если с одной стороны опытный боксер, а с другой – новичок. Голова вот она, рядом с перчаткой, тридцать, двадцать сантиметров, но когда кулак туда доходит, ее уже нет. Или сбоку, или внизу, или чуть дальше. Азарт овладевает охотником, как такое может быть?! А вот может, в чем он убеждается минут через двадцать, выбившись из сил. Мы оба получаем хорошую разминку, и мой нос цел. Впрочем, я немного кокетничаю, участвовать в боях тоже приходилось.

А еще два вечера в неделю я посещал самодеятельный драматический кружок – не очень заметные, но все-таки какие-то способности в этом направлении у меня проявились. В кружке были свободные женщины-девушки, а если и не совсем свободные, то свободомыслящие, так что возможностей для походов хватало. Впрочем, и мое конструкторское бюро тоже не было тихой заводью. Но... и снова все то же «но», которое меня в последние годы буквально преследовало. Несмотря на почти стопроцентную загрузку, я находил время, чтобы вместо веселых походов предаваться невеселым мыслям.

20. Непредвиденные обстоятельства

В сердцах я время от времени называл себя душевнобольным. В этом самобичевании определено было зерно истины. Во-первых, душа у меня действительно болела, а кроме того, был более очевидный признак болезни – раздвоение если не личности, то, вне всякого сомнения, этой самой души.

В основе была, безусловно, печаль. Две большие любви в течение менее двух лет, одна закончилась абсолютным крахом, вторая висела на волоске. Я был совершенно уверен, что лимиты, данные свыше на эти прекрасные чувства, мною бездарно исчерпаны.

По Але я скучал. Нет, это слабо сказано, вернее будет - тосковал. Но эта тоска... как бы лучше объяснить... я, пожалуй, повторю за поэтом: «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Лучше не скажешь. Ни капли горечи не несли с собой воспоминания о ней, только светлую и даже сладкую печаль. К вечеру, особенно ночью я почти физически ощущал ее присутствие. И если вы ждете от меня намека на «клубничку», то вынужден вас разочаровать. Воспоминания об «африканских страстях» - как ни странно – почти отсутствовали. Дело было в другом, и об этом я вскользь уже упоминал – Але удалось приучить меня спать вдвоем. То есть жить вдвоем - в широком смысле этого понятия. А это совсем другое состояние человека – он во сне и наяву уже не одинок. Можно посреди ночи проснуться, протянуть руку и убедиться – вот она, рядом, в горести и радости. Этот человек часть тебя, продолжение твоего тела, твоих чувств, твоих мыслей. Вот потерю чего так остро ощущала одна часть моей раздвоенной души. Лучшая часть.

А другая?.. Нет, по Оле я не скучал. Мало того, я не хотел встречаться с ней даже случайно. Я представлял себе, как она пройдет мимо меня, как мимо какого-нибудь фонарного столба. Если мы буквально столкнемся лоб в лоб, то вежливо поздоровается, не задерживаясь ни на секунду. А если пройдет чуть поодаль, то просто скользнет взглядом. И что интересно, за эти годы я действительно встречал ее несколько раз – не зря говорили, что Одесса большая деревня, – и все происходило именно так, как я и предполагал. Она

вежливо улыбалась: «Привет», а когда проходила мимо на расстоянии больше вытянутой руки, то даже не смотрела в мою сторону. Нет, Оля не притворялась, что не обратила на меня внимания – это было бы не так обидно, – готов поклясться, она действительно меня не замечала.

И все-таки мысли о ней меня не оставляли. Тревожили. Беспокоили. И ничего с этим я поделать не мог.

Это определено было наваждение. Я боролся, как мог. Приводил для себя серьезные и вполне реальные доводы. Например, что Оля – сама того безусловно не желая – мешает мне жить в настоящем и при этом не оставляет даже надежды на какое-нибудь общее будущее. Или другой довод – жизнь с человеком такого железного характера само по себе нелегкое испытание, все равно, что построить дом на действующем, в лучшем случае спящем вулкане – в любую минуту может начаться извержение и похоронит лучшие чувства в потоке раскаленной лавы. Согласитесь – убедительно. Так может, все, что случилось у нас с ней, к лучшему?

А иной раз мне казалось, что это не более чем своеобразное проявление очень болезненного чувства вины, эдакий нарыв совести – ведь вольно или невольно, но я был причиной ее ужасной трагедии. Бедная девочка...

Все эти раздвоения вопреки моему желанию будоражили меня и мешали строить и осуществлять правильные планы дальнейшей жизни. А планы были очень простые и не менялись со дня моего отъезда из условного Саратова – я должен как можно раньше рассчитаться с Женей за более чем полгода бесплатного проживания, снять квартиру – по своим скудным средствам – и добром или силой привезти сюда Алю. Все ясно и просто.

Этими планами сразу же после поступления на работу я поделился с мамой. На невысказанный ею скептический вопрос – почему ты решил, что там тебя по-прежнему ждут? – я молча ответил самоуверенным пожатием плеч. Меня интересовало другое – как и когда я смогу достойно уйти от Жени, не испортив ее отношений с мамой – очень важный для нас обоих момент. Мы договорились, сколько я должен отдавать на еду и на возвращение джентльменского долга моей хозяйке. Не буду нагружать вас цифрами, скажу только, что это была практически вся моя зарплата и что мое освобождение должно было стать возможным в лучшем случае через месяцев восемь-десять. А скорее всего – через год. Снять квартиру без льгот, полученных у Жени, и отдавать ей долг было совершенно нереально.

В этот же вечер я накатал огромное письмо Але. Начал с главного – я еще и еще раз убедился, что жить без нее не могу, мы должны и будем вместе. И так страницы три мелким почерком. Потом рассказал, что свершилось, я начал работать. Потом мягко перешел к долгу перед Женей, долгу перед мамой, которой без Жени и ее душа придется туго. А в конце чуть приврал и клятвенно обещал, что через полгода заберу ее к себе, что на наши две зарплаты мы сможем прожить в бедности, но в счастье, пока... пока не разбогатеет.

Недели две я был очень доволен собой и почти спокоен. Ответа не получил. Я начал волноваться. Ведь ситуация сдвинулась с места, я уже работаю. Почему в ответ молчание? Послал вызов на переговоры – заметили, все напоминает ситуацию с Олей, я это тоже заметил и еще больше забеспокоился. Абонент на переговоры не явился. Ну что ж, успокаивал я себя, это вполне в духе надежной, искренней и прочно стоящей на земле Али. Она не станет тратить слова попусту, она хочет фактов и действий. Когда я ей напишу – приезжай, а еще лучше, когда я приеду за ней, – тогда все и решим. Не может быть, чтобы мои любовь и вера были ошибкой. Нет, если бы она меня разлюбила, я бы почувствовал, телепатия между нами существует. Следующее письмо и было примерно такого содержания. И снова в ответ полное безмолвие...

И тут я – из песни слов не выкинешь – снова смирился. И снова согласился на взаимное молчание.

Из сегодняшнего далека я ясно вижу, что согласившись прекратить переписку, я снова в определенной мере обманывал не только Алю, но и себя. Может, мне удобней было не объясняться с ней непрерывно, не тянуть жилы, перенося каждый раз сроки, а ждать изменения ситуации. И при этом продолжать твердить, что «печаль моя светла». Но все-таки это не был сплошной самообман, скорее всякого было намешано, как в жизни и бывает. А в общем, я искренне верил, что рано или поздно все сложится к лучшему. Все утрясется, были бы чувства.

Вот только если бы меня не напрягали до такой степени мысли об Оле... Но об этом я вам уже докладывал.

Время утекало как вода. Очень быстро, незаметно пробежало еще полгода. Всего со времени отъезда из условного Саратова прошел год, даже немногим больше – огромный срок. Но еще чуть-чуть, еще пару месяцев, дольше ждали...

Потом к шести месяцам, через которые я клятвенно обещал забрать Алю в Одессу, незаметно добавился седьмой, потом восьмой. Я стал готовиться к поездке в условный Саратов, понимая, что в данном случае, несмотря на всю мою веру и интуицию, одними письмами не отделаешься. Стал подыскивать квартиру для съема. Это была очень трудная задача. Почти нашел одну, довольно приличную и недалеко от центра города, мне ее обещали освободить через месяц. С мамой мы решили, что уже можно говорить с Женей об уходе ее постояльца в связи с изменением его семейного положения. Я чувствовал, что насчет моего семейного положения мама была настроена скептически, впрочем, она этого и не скрывала. Мне это было понятно – наверно, любому нормальному человеку мои надежды на фоне почти годичного молчания Али показались бы наивностью или даже просто глупостью. Так, я думаю, кажется и вам. Но я в отличие от вас продемонстрировал абсолютную уверенность, а если сомнения иной раз шевелились, то – как уже говорил – душил их на корню. Письмо о скором появлении у нее решил не писать, и хорошо сделал, потому что в жизни, особенно в моей жизни, часто как горох из дырявого мешка сыплются непредвиденные обстоятельства. И они посыпались...

Впрочем, первое обстоятельство было ожидаемым, и хотя оно не могло помешать поездке за Алей, но на меня произвело очень сильное, я бы даже сказал тягостное впечатление. До меня дошли слухи, что Оля встречается с молодым преподавателем нашего института. Аспирантом. Я его знал, симпатичный парень, старше меня на несколько лет, а значит лет на десять – как минимум – старше Оли, которая в это время уже училась на четвертом курсе. Время летит...

Помню, я желчно успел подумать – проблема свободного диплома будет решена, по назначению в тмутаракань ей ехать не придется. Правда, сам же и устыдился этих мыслей – такое с прямым и бескомпромиссным характером Оли не вязалось. Дело скорее было в другом.

К Мише Локтеву – так звали нового Олиного поклонника – в институте относились хорошо, с симпатией и сочувствием. Его молодая жена – все это случилось еще тогда, когда я учился в институте, – умерла при родах, и он один воспитывал дочку. Девочке было лет пять, самый чудесный и симпатичный возраст ребенка. Все говорили, что его дочь удивительно похожа на героиню фильма «Подкидыш», только еще красивей, чем маленькая Наташа Зацепина. А у Оли детей быть не могло...

До этих новостей я с Олей встречался раза два-три, не больше. А тут... Наверно, аспирант жил где-то в моем районе, потому что мы стали встречаться, как назло, регулярно. То она шла с ним под руку, а то – еще хуже – посередине, держа их за руки, шла и о чем-то счастливо щебетала девочка, действительно похожая на маленькую Наташу Зацепину. И действительно еще красивее.

Картина этого святого семейства вызывала судороги у меня в желудке – если вы помните, именно там помещалась моя ревность. После каждой такой встречи я долго не мог прийти в себя. Единственная надежда была на новую квартиру, в которую я должен был переехать уже скоро – она была в противоположном конце города. Картину «святого семейства» я из памяти выбросить не надеялся, но хотя бы регулярные встречи прекратятся.

Но напрасно я надеялся на перемены. Жизненная полоса снова стала темнеть на глазах. Мы с мамой отправились к Жене, для того чтобы сообщить ей о грядущих изменениях в моей судьбе. Но нас опередили. Оказалось, что и в ее судьбе тоже намечаются перемены, и от нас требуется в этом поучаствовать. Женя наконец нашла подходящего жениха. Мы обрадовались, но это было явно преждевременно. Жених был по описанию вполне подходящий, сорок пять лет, тоже работник торговли, не без средств к существованию. Я его впоследствии видел, это был мужской вариант Жени – по габаритам, характеру, манере мыслить и говорить.

Но обжегшись на своем муже – Юра после развода больше года заикался, еле вылечили, - Женя решила устроить испытательный срок месяца на два. База новой ячейки государства будет у жениха, а невеста станет жить на два дома. Хотя ночевать частенько будет у него: «Ха-ха, дело молодое».

Это был удар ниже пояса. Я не мог дожидаться, когда поеду за Алей, сомнения – пора наконец признаться – в моих матримониальных планах стали посещать меня все чаще. И хотелось переехать поскорее в новую квартиру – попытаться избавиться от раздражителей в лице Оли и аспиранта тоже было не лишним.

Надо же, как не везет!

Я сопротивлялся, как мог, но Женя искренне не понимала, почему человек, которому сделано огромное одолжение – и это правда, – не может пойти навстречу в такой мелочи, как два месяца. Она знала, что меня ждет невеста. Ну ждала почти полтора года, подождет еще пару месяцев. А тут решается судьба моей благодетельницы... Конечно, она была права.

Я попытался подойти с другой точки зрения – может, Юрик должен быстрее привыкнуть к новому отчиму, может, не ночующая дома мама тоже выглядит не очень... Я даже сказал, что ходить куда-то ночевать немногим лучше, чем приводить домой. Ну, молодого альфонса, может, действительно не стоит, но жениха, солидного человека...

Женя начала нервничать и обижаться. А вдруг они не уживутся. Опять Юре заикаться? После чего она покраснела – я видел это явление в первый и последний раз – и сказала:

- И потом я громко кричу.

- Да, голос у тебя громкий, ну и что? Почему ты думаешь, что будешь с ним ругаться, - это уже миролюбиво вступила молчавшая до этого мама. Кажется, она была на стороне Жени.

- Нет, вы не поняли, - Женя еще добавила краски, - я ночью очень громко кричу. Темперамент. Зачем Юре это слышать?

Против такого трудно было возразить. И все-таки я еще попытался сопротивляться. Сказал, что уже договорился насчет квартиры, но Женя нашла разумный контраргумент.

- Поторопился. Искать нужно, когда вернешься. Надо точно знать, сколько вас будет – один или двое. Это и цены, и квартиры разные.

В логике ей не откажешь.

Я скрепя сердце согласился. А что было делать?

Правда, в этом было и кое-что хорошее. Мой отъезд передвинулся на отпуск - начало февраля. Таким образом я избегал сложностей с отгулами, не должен был ничего просить у начальства, да и отпускные не помешают... Короче, я в очередной раз смирился – это уже стало традицией.

А расплачивался за это тем, что постепенно стал терять веру в результаты поездки и регулярно ощущал острые рези в желудке при встрече с Олей. Тяжелый был период. Он проходил как в тумане...

И вот однажды вечером я увидел Олю одну, она шла по другой стороне, а значит здороваться мы не должны были. И вдруг – я глазам своим не поверил – она перешла дорогу, явно направляясь ко мне.

- Привет.

- Привет.

- Боря, хочу с тобой поговорить.

Я молча уставился на нее.

- Ты понимаешь, то, что происходит, это неизбежно.

Я молчал.

- Мы с Локтевым будем жить вместе. Мы так решили.

Я по-прежнему молча смотрел ей в глаза. А что я мог сказать? Она повторила:

- Это неизбежно. Это должно было случиться рано или поздно.

И тут я взорвался:

- А что я? Я мешаю, преследую? Подхожу к вам, что-то говорю? Что я?!

- Боря, я тебя очень хорошо знаю. Может, лучше, чем ты себя. Я же вижу, как ты чернеешь, когда нас встречаешь. Думаешь, это легко видеть? – И она третий раз сказала, как заклинание: – Это было неизбежно.

На этот раз я промолчал.

- Боря, но ведь и у тебя тоже кто-то есть.

Я чуть было не спросил, откуда она знает, но вспомнил - мы живем в Одессе, которую не напрасно зовут большой деревней.

- В одну реку, Боря, два раза не войдешь, и ты это прекрасно знаешь.

Мне показалось или она действительно вздохнула?

- Так мне что, под землю провалиться?

- Не знаю. Подумай. Может, тебе действительно лучше уехать...

На этот раз я не сомневался, она действительно вздохнула, и был в этом отголосок тоски. Впрочем, насчет отголоска я может быть ошибся.

Я посмотрел Оле в глаза и неожиданно понял что-то очень важное. О себе.

Я понял, что в характере моем есть очень опасная для меня и близких мне людей черта. А именно – слишком часто я не могу перетерпеть, пересилить очень тяжелые моменты, которые обязательно случаются в любви, в работе, короче, во всех проявлениях жизни. Когда нужно зажать волю в кулак, пережить, даже в конце концов утереться, я вместо этого отступаю, убеждая себя, что так будет лучше. Или ищу якобы обходные способы. Поэтому признаюсь себе на пороге – или уже за порогом – старости, я не добился в счастье, в успехах, в самых разных областях жизни того, что, как мне кажется, было отпущено на мою долю свыше.

Почему все это дошло до меня именно сейчас?

Потому что в эту минуту я с необыкновенной ясностью понял, что не должен был смиряться с отказом Оли, которая не могла простить мне ужасные последствия аборта. После трагедии она превратилась в глыбу льда. Моя мама была права, когда говорила, что я слишком легко сдался. Нужно было помнить, что хоть виноваты мы оба, но пострадала она. Я должен был, был обязан с любыми рисками уехать из условного Саратова, ходить за ней следом, отказов не принимать. Любовью и настойчивостью растопить айсберг, в который она превратилась. Я понял, что внутренне Оля этого ждала. И тогда это не означало бы «войти два раза в одну и ту же реку», тогда мы преодолевали бы вместе беду.

И к своему стыду и ужасу я впервые осознал, что с Алей повторяю все то же самое. Дай бог, чтобы еще можно было исправить...

Оля, глядя мне в глаза, печально улыбнулась. Я почувствовал, что она понимает, о чем я думаю. На мгновение былая беспроводная связь к нам вернулась.

- Давай простим друг друга. Человек, который прощает другого, тем самым дает прощение своим грехам, а значит, облегчает и душу...

Я тоже улыбнулся не слишком радостно и, как прежде, остановил ее:

- Друг мой Аркадий, не говори красиво.

Оля поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку.

В этот же вечер я купил билет на первую субботу февраля на самолет в условный Саратов. А на следующий день отправил Але телеграмму с уведомлением о вручении.

«Целую тчк очень люблю тчк прилетаю за тобой такого-то февраля тчк собирайся зпт без тебя родная не уеду тчк твой борис».

А через два дня получил уведомление – «адресат выбыл».

Совершенно неожиданный поворот! С меня мигом слетела вся, как выяснилось, показная уверенность. Мама была полна сочувствия. Что делать?

Я отправил телеграмму Додику. В ней очень извинялся за то, что не отвечал на его письма, и убедительно просил узнать, где сейчас Аля. Телеграмма получилась многословная. А в ответ пришла очень короткая: «Какая ты свинья зпт иди к черту и еще дальше». Даже без подписи.

Я знал, что Додик обидчив, но не до такой же степени...

Экспедицию в условный Саратов я все-таки не отменил.

21. Оттепель

Возвращаюсь от частного к общему. А об общем я рассказать просто обязан, потому что именно в описываемые годы был очередной исторический период. Настолько исторический, что даже получил собственное название, а это далеко не каждому периоду в истории дается. Я имею в виду, конечно, «оттепель».

Я долго напрягал память, пытаюсь вспомнить, сознавали ли мы - я и мне подобные – что живем в оттепели. Ну, прежде всего то, что это оттепель, мы тогда не знали. Ведь значение этого слова – временное потепление, которое обязательно сменится холодами. Часть из нас вообще не замечала климатических изменений в политике и жизни, другая, более продвинутая, оптимистически считала, что это начало серьезной демократизации. Немногие предвидели такой быстрый финал, но с легкой руки Ильи Эренбурга определение этого периода «оттепель» прижилось. Впрочем, суть не в названии, главное – ощущали ли мы перемены.

Давайте я начну со своего личного мнения, насколько я его помню. Мне, как убежденному к тому времени антисоветчику, было тяжело поверить, что это действительно тенденция к демократизации. Это – казалось мне – не более чем временное попустительство властей. Я ораторствовал – разумеется, среди своих, - что тоталитаризм с волюнтаризмом в придачу и соблюдение прав человека в принципе несовместимы. Одно из этих направлений фиктивное, сейчас бы сказали – виртуальное, и ясно, какое именно. Поиграются с нами в демократию и бросят. В то время мне нравилось шокировать моих более консервативных друзей и знакомых своими крайними – так считалось – взглядами.

Начиналась оттепель тоже со скандала, который убедительно доказывал - она скорее миф, чем реальность. Вы тоже помните этот скандал.

Пастернак опубликовал «Доктора Живаго» за границей, ему присудили Нобелевскую премию – это оттепель, а Хрущев затопал ногами, облил его грязью и обещал выгнать из страны – это реальность. То самое сочетание, о котором я говорил только что. Правда – новые времена, – хотел только выгнать, а не посадить или расстрелять. Все-таки потеплело.

Историю с «Доктором Живаго» мы живо обсуждали, это я помню точно. Пастернак каялся еще похлеще, чем это делал недавно Шостакович. Отказался от премии, умолял его не высылать из страны. Мне было за него очень неловко. Я считаю, что талант все-таки несет ответственность перед людьми за свои поступки, мораль, чувство собственного достоинства. Разделение таланта и личных качеств человека мне кажется неправильным. Но это спор старый, не будем в него ввязываться. Тем более что, как у нас принято, большинство, а значит в нашем понимании «народ», Пастернака привычно осуждал: «Чем ему плохо жилось, была дача, деньги. Зачем продался на Запад?» И на всякий случай добавлял его национальность. Народ в этом смысле нас разнообразием не балует и по сей день.

И все-таки я должен сейчас признать, что мой воинствующий скептицизм был чрезмерным. Были перемены, и довольно серьезные. И в первую очередь в советской периодике. В толстых журналах. Начать следует с публикации некоторых произведений, о которых даже раньше и подумать нельзя было. В том числе и наших, советских писателей, начиная, безусловно, с напечатанного по недосмотру «Одного дня Ивана Денисовича». Это не могло не оставить след в душах читателей.

Мне больше запомнились перемены в настроениях молодежи, прежде всего интеллигентной молодежи – все-таки я тогда относился к этой категории. Комсомол и партия с самого начала оттепели взяли курс на «разрешенное свободомыслие». Дошло до того, что в городе открыли – или позволили открыть – молодежный театр сатиры! Сатиры! То есть самодеятельный театр, который бы не славил, а критиковал. «Насмешки разные над львами, над орлами». Такое раньше и представить себе было невозможно. Наверно из литературы наше руководство вычитало, что студенчество – исторически – очень серьезный очаг свободомыслия и беспокойства. Не знаю, я этого не замечал; на мой взгляд, наше студенчество в массе своей было – и остается – удивительно пассивным.

Так, о театре. Капустники были любимым развлечением в институтах, но когда собрали вместе лучших авторов и исполнителей, то удержать их в капустных рамках оказалось непросто. Они все время норовили вырваться на простор сатиры, а это значит критиковать не только отдельных бездельников и тунеядцев. А главное, трудно было понять, кого именно в своих миниатюрах они считают бездельниками и тунеядцами. И что по этому поводу думают зрители, которые тоже находили в их текстах то, что считали нужным. Тут у зрителей с исполнителями был полный междустрочный контакт. Собственно ради этих намеков молодежь и ломилась на спектакли театра.

Постепенно «разрешенное свободомыслие» достигло невероятных масштабов – я имею в виду КВН, который победно прошел по городам Союза и в 1961 году вышел на первый телевизионный экран. Причем в прямую трансляцию. Успех был огромный. И смелость. Особенно в этом смысле запомнились мне – вполне естественно – отличные одесские команды, а также чемпион 66 года команда города Горького. У команды была очевидная и довольно зрелая политическая позиция, разумеется вместе с остроумием. И состав был постарше, чем обычный, студенческий. Насколько я помню, именно после горьковчан прекратили прямую передачу КВН. А потом и вовсе закрыли. Я думаю, это был последний залп-салют почившей в бозе еще раньше оттепели. А нынешний танцевально-певческий КВН, кроме названия и Маслякова, с тем, оттепельным, практически ничего общего не имеет. Я не бранюсь, просто теперь это совсем другой жанр...

Но были после оттепели, на мой взгляд, и более постоянные и серьезные изменения в психологии активной части общества, а может, даже у всего общества в целом. Мы стали понимать, что, оказывается, всей страной живем плохо и даже очень плохо. Все-таки до этого времени мы недовольства общим уровнем жизни не проявляли – так мне помнится. Лично мне плохо – да, это мы понимали, об этом говорили. А до обобщения «нам всем плохо» - нет, так далеко критика не заходила. Мы были отлично вымуштрованы.

И большую роль в этой очень существенной перемене взглядов нужно отвести – я убежден – взбалмошному характеру Хрущева.

Мне кажется, если бы Никита Сергеевич нас не надоумил, мы бы еще очень долго не сознавали, что плохо живем. Он нам сказал, что жить, не имея своей отдельной квартиры, ненормально, так в приличных странах люди не живут, сказал, что он во главе партии берется за короткий срок обеспечить каждую семью квартирой. Нам после этого осталась не очень сложная самостоятельная умственная работа – если это так просто, почему раньше не сделали? Нам оставалось оглянуться вокруг и увидеть, что большинство тоже плохо и неправильно живет.

Он же, Никита Сергеевич, объяснил, что если на наших богатых землях жрать нечего – то это нехорошо. И в пример приводил страны почти без земли, где еды на всех хватает. И почему у нас перманентное недоедание тоже объяснял - в сельском хозяйстве бардак. Не то сажают, не так планируют. Плохо работают. Он сейчас вместе с руководящей и направляющей силой нашего общества коммунистической партией порядок наведет. Правда, после этого стало еще хуже... Но это уже не так важно. Нам оставалось сообразить – всем распоряжается партия, значит и бардаком тоже. Поэтому мы плохо живем. Сейчас кажется, что быть такими идиотами всей страной столько лет невозможно, но при правильном коммунистическом воспитании, при миллионах списанных в расход, сгнивших «на соловках», это вполне реально.

Именно после оттепели мнение, что мы все, кроме власть имущих, живем очень бедно и плохо, стало общепринятым. Мы говорили об этом вслух, не скрываясь – но только друг другу. На любом собрании, на официальном уровне и в СМИ все – и мы в том числе – славил партию и нашу прекрасную жизнь. То есть добавилось сознание всеобщей лжи и отвратительного вранья. Все эти настроения мы пронесли неизменными до конца советской власти, но, к сожалению, они ни к каким практическим результатам не привели и не изменили ход истории Советского Союза.

Поэтому, когда очередной лидер сверху нам опять разъяснил, что так дальше жить нельзя, что нужно меняться и перестраиваться, мы его поддержали. А сами в массе своей на поступки оказались неспособны, за исключением мизерного количества диссидентов...

Нам нужно чтобы декабристы разбудили Герцена, чтобы Никита Сергеевич нас надоумил, чтобы Михаил Сергеевич подтолкнул, иначе мы не только на протест, на простое недовольное ворчание не решаемся. Даже когда уже нет Сталина. Удивительная страна. Или резать друг друга, или полное непротивление злу. Нет середины.

А теперь? Снова тоска по бессловесному прошлому...

Самое время напомнить, что я говорю о своих впечатлениях и воспоминаниях, не пытаюсь говорить от имени всех или даже большинства, так что прошу всех собак по этому поводу на меня не вешать.

Что еще я могу об оттепели сказать? Хрущев дома все-таки строил, нужно отдать ему справедливость. Выросли целые районы. Умудрился за довольно короткий срок удвоить жилой фонд. Значит можно, если захотят? А насчет свободы он, Хрущев, собственно говоря, ничего нам и не обещал. Сельское хозяйство... чуть было не написал «окончательно развалил», но вспомнил, что впереди Брежнев, закупки зерна и еще много, много всякого. Поэтому скажу помягче – развалил, но, как потом оказалось, еще не окончательно. Но

основательно. Появилась в магазинах вонючая конская колбаса, обычная исчезла. Треска из собачьей радости стала человеческой. Вслед за этим исчез и сам глубоко разобиженный Никита Сергеевич. Нам как-то было все равно. Если и были надежды, то к этому времени они растаяли. И то, что я в прогнозах оказался прав, меня не радовало.

Место Хрущева занял не очень выразительный и не слишком популярный Брежнев... Никто не думал, что это будет новый отец народов. Думали, временная подставная фигура, зицпредседатель Фунт. Ошиблись.

Но я забежал вперед на несколько лет. Теперь с чистой совестью могу вернуться к событиям в моей личной жизни.

22. Экспедиция в условный Саратов

Женя стала жить на два дома. Наконец-то ее кипучая энергия нашла применение. После работы она забегала домой, как метеор носилась по квартире, убирала свою и Юрика комнату, готовила обед и кормила ребенка. Что-то стирала в ванной. Мылась – и часа через два таких нелегких трудов улетала наслаждаться семейной жизнью. И так почти каждый день, в крайнем случае через день. Параллельно она делилась своими радостными мыслями с мамой, которая часто помогала ей в трудах праведных. Кстати, в те дни, когда Женя ночевала в новой семье, Юра завтракал и перекусывал после школы у мамы. Словом, наши две квартиры вели очень энергичный образ жизни.

Женя расцвела, похудела и была откровенно счастлива. Ее жених оказался вполне подходящим человеком, не мелочным, не жадным. Правда, немного молчаливым - делилась она с мамой, – но для Жени важнее был слушатель. Зато как мужчина вполне... она теперь может кричать, когда захочет.

Все эти разговоры велись и при мне, до поры до времени я в ее глазах был все еще не совсем взрослым мужчиной.

У меня возникло опасение, что такая жизнь на две квартиры ей настолько понравится, что она попытается затруднить мне поездку в условный Саратов – а время отпуска уже приближалось. И очень хотелось переехать в другой район, чтобы не встречаться со «святым семейством». То, что мы с Олей простили друг друга, мало подействовало, и при каждой встрече я чувствовал, что по-прежнему чернею.

На сей раз непредвиденные обстоятельства хоть и произошли, но были на моей стороне. Спустя месяца полтора Женя вернулась домой, она не выдержала испытания семейной жизнью. То есть не выдержала не совсем правильно сказано, тут больше подойдет поговорка: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Почти дословное соответствие – во-первых, Женя считала свою семейную жизнь чуть ли не райской, а во-вторых, причиной скандала были действительно грехи, правда прошлые.

Печальную историю она рассказала маме в тот же вечер. Я слышал ее из своей комнаты, впрочем, думаю, вместе со всеми соседями по двору - у Жени был громкий голос не только ночью.

Как все произошло. Готовить еду во втором доме было довольно сложно – в сутках всего двадцать четыре часа, а еще нужно выделить время на ночные крики. Поэтому небедная пара часто ходила ужинать в ресторан. И вот однажды нелегкая их занесла в заведение, куда Женя в еще холостом статусе любила ходить со своими подружками из сферы торговли и молодыми, высокими и красивыми кавалерами, которых они ласково называли «наши альфонсики». И надо же, ее бывшая компания ужинала в этом ресторане, ужинала, судя по брызжущему веселью, уже давно. Короче, один из «альфонсиков», кажется тот, что лез к ней в окно, спяну повел себя развязно, приставал к молодоженам, устроил скандал, а заодно выставил в неприглядном свете Женино прошлое с пикантными подробностями. А когда он рассказал о ее привычке кричать в особых обстоятельствах, то у

нашего жениха сомнений в правдивости «альфонсика» не осталось. И Женя прямо из ресторана переехала домой. Жених оказался твердым орешком и прощать «шалости» отказался наотрез.

Все-таки Женю было жалко. Она совсем сникла, ходила по квартире вразвалку - тонус пропал, неприбранная, непривычно молчаливая. У меня тоже настроение было не очень жизнерадостное – абсолютная растерянность и неуверенность. Словом, наша квартира определенно переживала кризис. Мама нам сочувствовала, а тишайший отчим появлялся после работы как бестелесная тень отца Гамлета – совершенно беззвучно.

И барометр моего настроения – я имею в виду желудочно-кишечный тракт - показывал если не бурю, то непогоду безусловно. Хорошо, что до моего вылета оставалось всего две-три недели, иначе я в этой обстановке всеобщего траура разболелся бы окончательно. И так мама время от времени делала попытки изменить мой маршрут:

- Может, тебе лучше поехать в санаторий, в Трускавец? Смотри, разболеешься. А деньги те же...

Но я держался стойко. Я должен был выяснить все до конца. Снова проявлять слабинку, бежать с поля боя мне не хотелось. Я слишком часто встречал Олю с аспирантом...

Рейс в условный Саратов был один раз в неделю, летнее расписание совпадало с зимним. Поэтому я – уже привычно – прилетел в ночь с субботы на воскресенье. Привычно устроился на скамейке в почти пустом аэровокзале в ожидании рассвета. «Надеюсь, этот раз будет последним, - подумал я, - но неизвестно, радоваться этому или огорчаться. Будущее покажет».

Время тянулось бесконечно. План кампании я обдумал еще в Одессе, во всяком случае, ее начало – с утра пораньше из аэропорта прямо ехать к Але домой. К Додиду решил не заезжать, чтобы не травмировать его нежную психику. Я был всерьез на него обижен. Ну не ответил я на письма, не слишком красиво, но в конце концов, это можно было понять, у меня в то время забот хватало. Однако устраивать по этому поводу какую-то женскую истерику... Я твердо решил, если не будет особой необходимости, к нему не заходить.

Будет Аля дома или не будет – вот вокруг чего вертелись мои мысли. Уехала ли она на самом деле или таким образом решила прекратить всякие отношения? Ладно, дольше ждали, осталось совсем немного...

Никаких мрачных картин я себе не рисовал, они у меня просто не получались. Я почему-то верил, что все разъяснится, как только мы с Алей посмотрим друг другу в глаза.

Чуть только начало светать, я взял такси – кстати, последнее из мерзших на стоянке, – и мы отправились в город.

На этот раз условный Саратов выглядел более привлекательно, чем в прошлые приезды. Шел симпатичный, немного киношный густой снег, и город был действительно белым и пушистым. Эта расхожая фраза была сейчас кстати. Я даже - не в первый раз – подумал, что может, напрасно так на него взъелся, может, напрасно... ну, вы знаете эти мои сомнения, не хочу повторяться.

Но когда мы проехали завод, когда подъехали к Алиному дому, я с какой-то необычной ясностью и уверенностью понял – нет, нет и еще раз нет! Я не смог бы быть счастливым в этом городе, на этом заводе, на этой работе и в квартире с тетей Ниной, какой бы хорошей она не оказалась. А насчет предубеждения к городу – в конце концов, для этого были основания. Разве не здесь меня покалечили, причем сознательно – я имею в виду аферу с парадизентерией? Неужели Аля этого не поняла?

Где Алина квартира, я естественно знал, в ее парадном мы часто задерживались. Но внутри никогда не был и тетю Нину не видел.

Звонка у них не было, я постучал. В ответ тишина. Я постучал громче. Прислушался. Услышал вроде бы голоса, вроде мужской и женский. В сердце что-то кольнуло. Нет, голос не Алин, но хотя... очень плохо слышно, какое-то шуршание... Черт его знает... Шлеп, шлеп – шаги.

- Кто там?

Нет, голос не Алин, низкий, хрипловатый. Наверно, тетя Нина. Как к ней обращаться? Как ее отчество? Я его никогда не знал. Нашел выход:

- Будьте добры, Аля дома? Можно ее позвать?

- Какая Аля? Нет тут никакой Али. Твою мать, чуть свет...

Вероятно женщине переговоры надоели, и дверь распахнулась. Женщина была довольно полная, заспанная, в халате. Лицо помятое, поэтому возраст не разберешь. Лет тридцать, может сорок. Воскресенье, около восьми утра, ее недовольство можно было понять. Я всматривался – нет, лицо не испитое и выглядит довольно молодо. Но все-таки неуверенно спросил:

- Вы не тетя Нина, простите, не знаю вашего отчества.

Пожалуй, моя вежливость - простите, будьте добры - примирили ее со мной. Поэтому она уже не таким воинственным тоном ответила:

- А-а-а, вы Нину Попову спрашиваете. Нет, она тут уже не живет. Это теперь наша квартира. А-а-а, это от вас была телеграмма?..

Она с явным интересом посмотрела на меня. Видно пыталась понять, какое отношение я и текст телеграммы могли иметь к алкоголичке Нине Поповой. Я добавил вежливости и ясности:

- Простите ради бога, но я ищу ее племянницу Алевтину.

- А-а-а, племянницу, - поняла наконец ситуацию женщина, - но тут не было никакой племянницы.

- Лида, что там такое? Ты где застряла?

- Лежи там, успокойся, сейчас приду.

Мне показалось, что мужской голос был не совсем трезвый. Женский, подозреваю, тоже. Мне нужно было быстрее все выяснить.

- Может быть, вы случайно знаете, куда Нина уехала? Для меня это очень важно...

Женщина продолжала смотреть на меня с явным интересом. Не каждый день приходят такие телеграммы... И все-таки сжалилась.

- Случайно знаю. Она уехала домой, в Гореловку. – И уже по своей инициативе добавила: – Километров сто отсюда. Автобусом. С автостанции.

Я с таким чувством ее благодарил, что она, думаю, даже простила мне прерванный воскресный сон, особенно крепкий после «вчерашнего». По-доброму улыбнулась и пожелала мне удачи. Когда я пошел на выход, она продолжала стоять в дверях. Романтика на женщин всегда действует. Она не спешила назад к мужчине, наверно он не был способен послать такую телеграмму...

Через час я уже трясся в автобусе по дороге в Гореловку. Моя эйфория, связанная с, казалось бы, удачным началом, довольно быстро прошла. Старенький автобус неуверенно и небыстро ехал по скользкой, припорошенной свежим снегом дороге. Я сел на свободное место по правую руку от водителя. Там был лучше обзор, да и стоило расспросить шофера об этих новых для меня местах. Оказалось, что пейзаж был достаточно однообразен, рассматривать его особого смысла не было, раз взглянул – и вполне достаточно. На небе сплошные мрачные тучи, ни проблеска солнца. Однообразная бесконечная белая поверхность, свежий снег ее не украшал, а выглядел скорее как саван. Деревья попадались редко и казались призрачными. Был ветерок, мела поземка. Но впрочем, эта безрадостная картина, возможно, была просто отражением моего мрачного настроения. В голове

вертелось: «Я приближался к месту своего назначения». Или: «Ветер завыл, пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями; сделалась метель». Интересно, по этим ли местам ехал на службу Петруша Гринев в «Капитанской дочке»? Надо бы спросить у Али. Изба-читалка должна помнить... Я вздохнул – спрошу, если встретимся.

Надежд оставалось все меньше, они буквально таяли с каждым километром пути. Вряд ли Аля решила вернуться в Гореловку. Нечего ей там делать, и папа-секретарь... Встречные деревни подтверждали эти сомнения. Они выглядели совсем непривлекательно, во всяком случае – куда беднее украинских сел. Если там и были сады, то я их не заметил.

Мы с Алей не виделись полтора года, за это время может произойти все что угодно. И не переписывались, точнее она не отвечала ... да, с декабря прошлого года, год и три месяца. Почти... Я понял - было верхом самоуверенности считать, что все само собой образуется. Ладно, мое дело дойти до конца, чтобы никаких сомнений не оставалось.

У шофера я узнал, что Гореловка, оказывается, райцентр. Что обратный автобус будет ближе к вечеру. Мы с ним высчитали, что у меня в Гореловке будет свободных три-четыре часа. А о гостинице и мечтать нечего.

Прибыли мы в Гореловку немногим позже полудня. На остановке вместе со мной сошел еще один мужичок, судя по всему местный. Я у него спросил, где живет Степан Попов – Аля была Степановна, а отчеством ее отца я в свое время не очень интересовался.

– Секретарь? Конечно, знаю. Кто ж его не знает. Он тут недалеко живет. Рядом, рукой подать. Я провожу.

Мужичок явно намеревался идти в другую сторону, но из уважения к «секретарю» повернул назад. Попов действительно жил в двух кварталах от остановки. По дороге я воспользовался случаем и спросил, как отчество секретаря.

- Отчество? Не знаете? Как можно?! - искренне удивился мужичок. – Павлович. Степан Павлович.

Он - видно было – пару раз пытался узнать, кто я такой и зачем мне понадобился сам секретарь, но так и не осмелился. Авторитет давил...

Дом Попова был довольно приличным, побольше окружающих, недавно побеленный. Забор – штакетник, зеленый, аккуратный. Мужичок предупредительно открыл передо мной калитку, сказал, что собаки нет, можно идти смело. Я поблагодарил его, попрощался и пошел к дому. А мужичок замешкался у калитки - вдруг еще что-то произойдет?

Возле двери был, к моему удивлению, звонок. Что вы хотите, начальство. Я позвонил. Прислушался. Вроде слышно бу-бу-бу. Но дверь никто не открывает. Я позвонил еще громче. В ответ более громкое бу-бу-бу. Я толкнул дверь – она открылась. Вошел в прихожую. Справа из-за другой, внутренней двери слышны голоса, мужские. Я постучал.

- Я же сказал, входи, кто там...

Я вошел. Это была столовая вместе с кухней, на мое, как потом оказалось, счастье довольно больших размеров. Напротив входа плита, раковина, горка с посудой. У стенки диванчик. Посреди стоял стол, на нем нехитрая закуска – сало, картошка, огурцы. Табуреты вместо стульев, но солидные, красивые. Посреди стола большая бутылка, заткнутая кукурузным початком, в бутылке сизая жидкость, наверняка самогон. За столом напротив друг друга двое. Один из них отец Али, догадаться просто – один рукав заткнут в брюки. Крупный мужчина, лет пятидесяти.

Спустя несколько лет на экраны вышел фильм «Председатель» с Михаилом Ульяновым. Там тоже солдат, тоже после войны, тоже с одной рукой, но... Лицо Ульянова высечено из скалы, волевое, суровое, устремленное в будущее. Лицо нашего секретаря отличалось от киношного Ульянова, как жизнь отличается от советской пропаганды. Оно было сытое, округлое, важное и никуда не устремленное. Все и так было неплохо. Правда, и

не злое, что тоже немало. Выпивохой он, очевидно, не был, но, судя по жилкам на щеках и носу, все-таки не чурался.

Другой помоложе – лет тридцати – помельче, но тоже крепкий, лицо простое, цивилизацией не испорченное. Хотя опять-таки не злое, когда я зашел, он широко улыбнулся. Неплохой вроде бы парень. Тракторист из фильма. Наверно, им и был...

Я вам сразу выложил все свои впечатления, потому что особо рассматривать обстановку у меня времени не было. Слишком бурно развивались события.

- Я вас слушаю, - вежливо и покровительственно начал разговор секретарь. За стол не усадил.

Я поставил свою сумку на пол у двери и решил тоже воздействовать на них вежливостью. Но, увы, номер не прошел.

- Извините ради бога, но я разыскиваю вашу дочь Алевтину. Вы не скажете...

Я замолчал. Лицо Попова на глазах стало краснеть и раздуваться.

- Так ты этот вот и есть? Из Одессы? Который Алевтину обидел?

Я признался.

Он начал медленно вставать, продолжая раздуваться от злости.

- Ты знаешь, о чем я целый год мечтаю? Набить тебе рожу, гнусная ты сволочь, мразь... и хватило наглости явиться как ни в чем не бывало, сучья псина.

Последнюю часть фразы он говорил, уже приступив к исполнению своей мечты. Он был высокий здоровый, если бы попал мне «по рожке», то дела мои были плохи... Но попасть он не мог, вы помните, что это не удавалось даже специалистам. Каждый мощный удар, не встречая «рожи», разворачивал его на 180 градусов, затем он без паузы, не останавливаясь, пытался нанести следующий.

Парень за столом осоловело смотрел на эту сцену, он соображал не очень быстро.

- Степан Павлович, так это тот, что надругался над Алевтиной? Ах ты, гнида. Нагадил и в кусты? Так это ты, мать-перемать, увел у меня Алевтину из-под носа?

Вот это новость! Аля не говорила, что я увел ее еще из-под какого-то носа, кроме носа Андрея.

И молодой присоединился к секретарю, они оба стали гонять меня вокруг стола. Как я уже говорил, хорошо, что большая столовая все-таки оставляла поле для маневров. Но было непросто, да и теплая куртка мешала. Молодой был порезче и поопасней. Но он сделал тактическую ошибку. Мат я терпел, но когда он прошелся насчет моей жидовской морды, я решил лишиться его слова. Довольно сильно я достал его в солнечное сплетение, он согнулся пополам и стал беззвучно, как рыба на берегу, хватать ртом воздух. Я подтолкнул его на диван, куда он благополучно и уселся. Его на какое-то время можно было не учитывать.

Попов тем временем продолжал махать своей кувалдой, но делал это все с меньшей скоростью, это нелегкое дело, так молотить даже воздух. Он тоже обзывал меня, особенно своим любимым «сучья псина», но не матерился и по национальному вопросу не высказывался, соблюдал партийную дисциплину.

Попов уже тяжело дышал, и я понял, что надолго его не хватит. В промежутках между уклонами и нырками я пытался уговорить его успокоиться, поговорить как нормальные люди, но этим только поддавал жару. И вдруг мой противник побледнел и схватился за сердце. Этого не доставало! Я перепугался, подхватил его и усадил на диван рядом с молодым. Он не сопротивлялся, только тоже стал хватать ртом воздух. Так они оба рядышком и сидели. Что делать? Я схватил два стакана, стоящие на столе, подбежал к раковине, вылил остатки самогона и налил воды. Потом дал стакан младшему – он взял, а старшего пытался поить. Потом схватил полотенце на кухне и стал им махать, как секундант на ринге. Смешная была бы картина, если бы я не был испуган.

В этот момент открылась дверь, и вошла дородная, симпатичная женщина. Безусловно, это Алина мама, доказательство было, так сказать, налицо. Я успел подумать, что Аля и в

возрасте будет очень даже смотреться. И успел подумать, что судя по всему мне это увидеть не придется.

- Степа? – спросила она.

- Галка... видишь... это тот гад... который бросил... Алевтину.

Текст ему давался нелегко.

Я тоже был сделан не из железа и тоже стал терять терпение.

- Кто кого бросил? Я-то здесь, а где Аля? Где она? – потом взял себя в руки и продолжил, обращаясь к матери Али: – Скажите ему. Давайте поговорим, как люди. Никого я не бросал. Я из кожи вон лез, чтобы мы были вместе.

- Степа, - попросила она.

В это время начал очухиваться молодой.

- Галина Васильевна, я этому...

Он стал искать что-то тяжелое, потянулся к табурету, приподнялся и снова попытался сказать гадость про мою морду. Пришлось опять лишиться его слова. На диван он сел сам.

- Давайте поговорим. Нам есть о чем. И без посторонних.

- Степа, - поддержала меня Галина Васильевна и глазами Попову показала на молодого.

- Ладно, - Попов вздохнул, он начал приходить в себя. - Валя, ты иди, это дело семейное. Ежли че, я тебя кликну.

Я не ждал ничьего согласия, подхватил этого Валу под локоть и повел к двери. Он не сопротивлялся. Я вывел его на крыльцо и на прощание – грешен – не удержался и не очень сильно, но дал ему по печени.

На этом военные действия прекратились, в доме Поповых приступили к переговорам.

Я снял куртку, так и не дождавшись предложения, положил ее на диван. Мы сели за стол. Начал я:

- Так где все-таки Аля?

Но секретарь уже полностью пришел в себя и привычно стал руководить.

- Давай так. Давай... как тебя зовут?

- Борис.

- Давай, Борис, ты раньше расскажи, как такое все могло получиться.

Он определенно ко мне не то чтобы подобрел - как-никак начальство, - а стал более снисходителен. Почему – могу только предполагать. Может, уважал силу – таким, как он, это свойственно. Может, оценил, что я его, в отличие от Вали, пощадил и даже обмахивал полотенцем. А скорее всего, ему было интересно узнать подробнее, что все-таки произошло с его дочерью. Это было их право, право родителей.

И я довольно подробно рассказал им то, что вы знаете. Почти ничего не приврал, может, кое-что чуть приукрасил, а пропустил совсем немного, чтобы не выглядеть хуже, чем я есть. Начал с нашего решения быть вместе, потом о болезни и парадизентерии. Об обострении, признался, что до сих пор не все в порядке. И – каюсь – стал давить на жалость, даже поведал о даме с косой. На Галину Васильевну это произвело впечатление. Когда я рассказал, что полгода не мог найти работу и жил в долг у соседки, Попов брезгливо поморщился, но жена призвала его к терпению.

- Степан...

- Куда я мог ее взять? И тут она меня как обухом по голове. Сказала, что прекращает переписку, что не хочет быть посмешищем. Почему посмешищем?

- У нас позора не любят, - твердо, как припечатал, сказал секретарь.

- Кой к черту позор, - опять не выдержал я, - ну встречались люди, решили пожениться, ну пока не получалось быть вместе. Но делают все возможное. Какой тут позор? Я делал все, что в моих силах.

- К ней надо было приехать. Она просила?

Это был сложный момент. Я объяснил, как мог, как чувствовал. И просил меня понять. Я не смог бы ужиться в этом городе, где меня покалечили, может навсегда. В квартире с пьющей хозяйкой. Так нельзя начинать жизнь, мы бы погрызлись с Алей сразу же, с первых дней. Мы все бы испортили. Надо было потерпеть. А она написала, что должна тоже как-то строить свою жизнь.

- Так кто кого бросил? Я-то продолжал ей писать, хоть ответа не получал. Просил потерпеть.

- Не всегда можно терпеть, - секретарь опять стал наливаясь гневом. – Ты-то, сучья псина, терпеть не захотел, торчал в своей Одессе, а бедная девочка...

- Степан, - попросила его сдержаться Галина Васильевна.

Он замолчал. Я заторопился.

Рассказал, что устроился на работу, что выплатил долги, что снял квартиру – тут немного приврал. Сказал, что все время писал ей письма – еще немного преувеличил. Сказал, что мечтал, как приеду за ней – а это была святая правда. Я видел, что Галина Васильевна мне сочувствует, а о чем думает начальство, не понимал. Начальство молчало. Может, сменит гнев на милость?

- Степа, - подтолкнула его жена.

Попов еще немного задумчиво помолчал, потом довольно холодно спросил:

- Значит, ты инженер. Хм. Инженер, рублей на сто в месяц.

- Почему на сто?

- Примерно. Квартиры нет. Че у тебя есть за душой?

- У нас начали строить кооперативы...

Он махнул рукой.

- Когда это будет. Скоко ждать?

- Так почти все живут...

- Какая это жизнь?! Тянуть жилы, от получки до аванса. Это не жизнь. Это каторга.

Партия в лице ее секретаря мне объяснила - то, что было, и то, что меня ждет в будущем, не жизнь, а каторга. Я отлично помню - на меня суровый вывод произвел впечатление. Они прекрасно все понимали, лучше, чем мы...

А действительно... Я не говорю о детстве и юности – там была война. Но уже пятнадцать лет, как она закончилась. И после института я со своим высшим образованием не имел никакой возможности сделать хоть что-нибудь по своей воле. Уехал в условный Саратов, хотя должен был остаться с Олей. Жил там в собачьей конуре у бабки за печкой. Потом с помощью нашей медицины и общими условиями жизни стал полуинвалидом и чуть не отдал богу душу. А для того, чтобы иметь виртуальную – только теоретическую – возможность привезти в Одессу любимую женщину, должен был полтора года пробивать стену лбом. Правда, мог приехать к ней, то есть опять-таки поступить против своего желания. И ведь секретарь прав: в будущем – если после всех испытаний еще осталось у меня с Алей общее будущее – нас ждут не менее тяжелые времена. У меня в самом деле нет ничего за душой, и скоро не появится. Словом, трудно отрицать руководящую роль нашего родного государства, партии и правительства в моей личной жизни. И в ее результатах. Они оба правы, и поэт – «единица вздор, единица ноль, голос единицы тоньше писка», и секретарь – «это не жизнь, а каторга...»

Все эти мысли молнией пронеслись в голове. А секретарь тем временем подбил итог:

- Ты не сможешь по-человечьи содержать семью, ребенка.

Его речь звучала авторитетно, весомо, как приговор судьи. Надежды мои лопнули, как мыльный пузырь.

- С детьми придется подождать, - признал я, - пока не купим кооператив. Но мы молодые, Але всего ничего. Какие наши годы...

- Да, все правильно, мать. Все правильно, - Попов снова побагровел, замолчал.

Молчание стало тяжелым. Я выдохся и ждал. Муж с женой понимающе переглянулись. Она его поддержала:

- Степа, - и пожала плечами, мол, ничего не поделаешь.

Неожиданно Попов налил почти полный стакан самогона, поставил его возле меня. Жена пододвинула ко мне тарелку с закуской и банку с огурцами. Я похолодел.

- Так все-таки, где Аля?

Мой голос прозвучал хрипло.

- Аля сделала все верно. Она вышла замуж и уехала в Москву...

В ушах у меня зазвенело. Я выпил самогон до дна, взял сало, картошку, огурец, не торопясь закусил. Удивился своему спокойствию, мне даже показалось, что я ожидал чего-то подобного.

- Барков?

- Да. Большой начальник. И семью он обеспечит, будь уверен.

- Когда вышла?

- В прошлом месяце праздновали год.

- Долго ждала. Целых полгода.

- Для иных полгода тяжелее, чем для иных полтора. Тем боле, - он тоже говорил «тем боле», - что иным как с гуся вода. А иные...

- Степа! - предостерегла его Галина Васильевна.

- Да знаю я, мать, все соображаю. Нечо с ним толковать, - и неожиданно почти по-человечески закончил: - Извини, Боря.

Говорить действительно было не о чем. Хотел спросить, где Нина, но к чему мне это? Я встал, надел куртку, взял сумку, попрощался и ушел. Меня не провожали. Хозяйева остались сидеть за столом.

Автобус двинулся в обратный путь, когда стемнело, он ехал еще медленней и неуверенней, чем утром. Я опять сидел по правую руку от водителя, но в разговор не вступал, было не до бесед. Я никак не мог прийти в себя. Тупо всматривался в темноту, как будто хотел там найти ответы на мучившие меня вопросы.

Нет, понять то, что произошло, я был просто не в состоянии. Это было совершенно невероятно. То, что Аля через полгода после моего отъезда - даже меньше! - выйдет за какого-то лысого Баркова и уедет с ним в Москву, такого я даже в худших вариантах не предполагал. Как говорится - даже в страшных снах. «О женщины!» - сказал Шекспир устами Гамлета, далее цитату можете продолжить сами. В принципе, любая женщина могла, поняв, что у меня перспектив негусто, сделать это. Любая, но не Аля. Я вспомнил ее открытое, искреннее лицо, на котором отражалась такая же искренняя и открытая - в этом я был абсолютно уверен - душа. А ее письма, за два-три месяца до свадьбы с этим лысым! Сколько там было настоящего чувства! Выходит, что я ничего не понимаю в жизни или совсем не разобрался в Але... или не уловил чего-то важного в этой истории. И уже никогда не пойму, потому что Али мне больше не видать. Тогда я был абсолютно в этом уверен.

Но хорошо, думал я, хотя бы одно - мне теперь не нужно копать в себе и выяснять, какие чувства я к каждой из них испытываю. Теперь Оля и Аля сравнялись. И по отношению к обеим у меня только одно желание - чтобы они оставили меня в покое. Но я уже на опыте своей первой любви знал, насколько это, казалось бы простое желание, трудновыполнимо.

Я утешал себя набором прописных истин, строк из песен, расхожих цитат, вспоминал все, что приходило в голову на эту тему. Начал с изречений. Время лечит. Все проходит, и это тоже пройдет.

Потом перешел к музыкальным фрагментам:

Все пройдет, и печаль и радость,
все пройдет – так устроен свет...

Было, было, было – и прошло,
а-а-а, а-а-а...

Водитель посмотрел на меня с удивлением – оказывается, я подпевал своим мыслям. Последствия самогона.

- Ничего, - сказал я ему, - будьте уверены, я с этим справлюсь. Все проходит, и это пройдет.

Но в душе уверенности не было. А вдруг они меня никогда не оставят в покое?

23. Два за год

После моего возвращения в Одессу мама и Женя с таким усердием изображали, что ничего не произошло, а отчим стал настолько тише воды и ниже травы, что я понял – в очередной раз пора братья за себя всерьез. Я признавал, что случай сложный, и поэтому решил применить сильнейшее оружие – самоиронию, переходящую в издевку.

Я провел очень серьезную беседу с самим собой. Что случилось? Объявлен конец света? Кто-то умер? Не стесняясь в выражениях, объяснил, что нужно наконец взяться за ум и вести себя достойно. Я не позволю себе раскисать и изображать рыцаря печального образа курам и всем окружающим на смех. Даже если орел иной раз будет прилетать и клевать мою печень, это никого не касается и никто этого видеть не должен. Я обязан поправиться, продолжать заниматься спортом, улыбаться и радоваться жизни, как и положено молодому человеку в возрасте двадцати пяти лет. Я должен вернуться к осознанию очень простой истины - «женщин много есть на свете».

Сразу же от нравоучений я перешел к делу и решил доказать себе – и другим, – что в критических ситуациях способен, как барон Мюнхаузен, вытащить себя из болота за волосы. Я проявил решительность, мне в этом направлении обычно не свойственную, и использовал свой статус члена месткома – по Жванецкому, «что охраняешь, то имеешь». Пошутукавшись с председателем, я выхватил вне очереди горящую, почти бесплатную путевку в санаторий Друскиненкайте. Хороший санаторий в Литве, путевка на двадцать дней. Мама посмотрела на меня с уважением, хотя ее моральные принципы... но кто с ними считается, особенно в критических ситуациях? Она бы меня еще больше заважала – и тоже вопреки принципам, - если бы знала, как я себя в этом санатории поведу.

Те, кто в это время бывал в подобных заведениях, знают, что там в ходу было выражение – путевка засчитана, или - для неудачников – не засчитана. Легко догадаться, что это означает. Я довольно быстро выбрал объект, причем мотивы мести в этом выборе выглядели как ослиные уши. Молоденькую и очень симпатичную девочку звали Ульяна, в общении Уля. Я позлорадствовал про себя – были Оля и Аля, теперь будет Уля. Для комплекта. Короче говоря, санаторий был мне засчитан. Как-то получалось, что последние пару лет я возвращался домой побитым и с поджатым хвостом, но этот раз я появился в Одессе в хорошем настроении, посвежевший, поправившийся и почти уверенный в себе. Определенно, новая жизнь на сей раз действительно начиналась.

Когда я вернулся, то на повестку дня был поставлен вопрос – а стоит ли мне снимать квартиру? Мамины доводы были понятны – у Жени дешевле, я смогу продолжать «столоваться» дома. Но мне все-таки хотелось уйти, по многим причинам. В том числе, и аморальным – в моем возрасте уже может понадобиться квартира не под присмотром родителей и почти родственницы-соседки. Это первое. Второе – несмотря на «новую жизнь», встречи с Олей и «святым семейством» все-таки выбивали меня из колеи как

минимум на неделю. Был смысл перебраться в другой район, от греха, точнее от лишней нервозности подальше.

Но квартирный вопрос вскоре разрешился сам собой, без нашего желания.

Дело в том, что пока я приходил в себя и приобретал товарный вид, Женя тоже не тратила время понапрасну. К ней вернулась ее энергия и темперамент, пострадавшие от печальной истории с женихом. Женя снова была готова к бою за свое семейное счастье. Но подходящие женихи лет 40-45 на дороге не валяются, поиск требовал времени. А темперамент Жени предъявлял свои требования. Хотя молодые, красивые и высокие «альфонсики» отбили ей охоту к подобным приключениям... Короче говоря, однажды я заметил, что она как-то, я бы сказал плотно, стала поглядывать на меня. Началось с того, что однажды мы столкнулись в дверях, и она пошутила:

- Если нас сложить вместе и разделить пополам, получится нормальная фигура.

Потом критически посмотрела на меня и добавила:

- Сложить вместе это хорошо, а делить потом не обязательно. А?

И игриво, но больно, ткнула меня кулаком под ребро. Я тоже улыбнулся, но не игриво. Потом она стала сталкиваться со мной по утрам и вечерам не только в домашней одежде. Разумеется, случайно. Конечно, она никаких видов на меня не имела, просто не понимала, почему два свободных человека, пострадавших на любовной почве, не могут иной раз доставить друг другу удовольствие.

Это заметила и мама. Она-то уж точно знала, чем вся эта история может закончиться. Стоит мне не увливать, а прямо отказать, как все Женины эмоции обрушатся на окружающих... А если не отказать, то совсем скверно. Словом, душ для мамы повис на волоске. Я снова проявил огромную активность и буквально недели через две уже жил в другом районе, более дешевом и удаленном от центра, от Жени и от «святого семейства». И все действующие лица в наших квартирах остались в хороших отношениях.

Переезд был несложен, моих вещей набралось всего на один чемодан. С тех пор это было обычным явлением: из каких бы краев необъятного мира я не отбывал навсегда - из своих квартир (было и такое), съемных, частично своих - я всегда уходил с одним сиротским чемоданом. Как-то получалось, что я за эти годы ничего не нажил.

Такой чемодан, я сейчас понимаю, не был случайностью, это была моя карма.

Мое новое жилище было хоть и в черте города, но в небогатом районе. Впрочем, центральные районы тоже были облезлыми и перенаселенными. В доме на Дерибасовской были такие же дворовые туалеты, как и везде. Дворцы советских бонз располагались где-то на отшибе, тогда не модно было богатством мозолить людям глаза.

Но я о своем районе. Дома были старые, двух-трехэтажные, тоже разделенные на коммуны. Иногда из когда-то многокомнатной квартиры делали две с разными входами - у одной вход с парадного подъезда, а у другой - с черного хода. Я снял комнату в квартире на верхнем третьем этаже. Вход - бывший черный. Много лет спустя, уже будучи довольно полным (в смысле упитанным) иностранцем, я пришел в этот двор, попытался по деревянным ступеням черного хода добраться до бывшей своей комнаты, но отступил с полдороги. Я с трудом размещался в узком пролете, не преувеличиваю. И ступени подозрительно скрипели...

Комнату я снял у двух старичков-пенсионеров. Глубоких старичков - так мне тогда казалось, хотя им было немногим больше шестидесяти. Тогда всё - в том числе и годы - было другое. Я бы назвал это другим измерением. И когда я вспоминаю те времена - советский 1960 год, - то мне кажется, что это какой-то каменный век, а сам себе я кажусь Мафусаилом.

Перечислю комплект условий, очень даже обычный для тех времен. О черном ходе - для нас он был по совместительству парадным - я уже писал, добавлю, что стены были

такими серыми и облезлыми, что это сохранилось в памяти. Подозрительно шатались перила. Вода к нам поступала не каждый день, и максимум минут на пятнадцать, причем или рано утром или около 12-ти часов ночи. Иной раз неожиданно в полдень. А с полночи до шести утра подача воды в городе вообще прекращалась. Опасение пропустить воду гвоздем сидело в массовом сознании одесситов, особенно жителей верхних этажей. Нужно было закрывать-открывать краны, подключать запасные емкости, следить, чтобы не перелилось. Закон подлости: вода была не частым гостем в трубах, а перелиться как-то противоестественно умудрялась.

Словом, воду в основном мы носили ведрами снизу. Поэтому квартира мне обходилась не слишком дорого – я по негласному соглашению чаще носил воду, чем мои немолодые хозяева.

А еще я чаще, чем они, носил уголь, снизу из подвала. У нас был котел и водяное отопление. Отсюда, между прочим, и мои ассоциации с каменным веком. Из общей прихожей трудолюбивый хозяин Тихон – все его во дворе называли Тиша – выделил туалет, котельную, душевую и прачечную. Все вместе на площади пять-шесть квадратных метров. Баки размещались в два этажа. Пол был – по его гордому заявлению – отлично зажелезнен, на соседей не протекало. Одна беда – воды почти не было. Я работал вместо насоса.

Безусловно, на туалет я даже не замахивался, имел совесть, привычно бегал в дворовой. Как правило, захватив с собой ведро для воды весь сезон или ведро для угля зимой, чтобы не делать пустую ходку.

За это мои хозяева не замечали, кого и когда я привожу и увожу из квартиры. И не делали мне замечания, когда я вставлял мощный ТЭН в специальный бачок и принимал душ сам или обмывал кого-нибудь из посторонних. Впрочем, в первый год посторонние появлялись редко.

Из мебели от хозяев мне достался старый диван, который раскладывался так, что два жестких ребра впивались в спину и пониже со страшной силой. Зато он был широким, почти двухместным. В углу находился небольшой двустворчатый шкаф, который то ли скрипел, то ли кряхтел сам по себе, даже когда его никто не трогал – от старости. Электроплитка стояла на маленьком столике, еще пару стульев и переносной приемник – все, больше описывать нечего. Выгадал я по сравнению с бабкиными полатами только одно – все было чище и аккуратнее, что для меня, пострадавшего от антисанитарии, значило немало.

И все-таки век был каменным. Изменения в городе, в общественном образе жизни и психологии стали происходить только тогда, когда пошло массовое городское строительство, когда по всей стране стали возникать Черемушки. Мы тогда не знали, что это «хрущобы», наоборот, они потрясали своим величием. За долгие советские годы это были первые признаки цивилизации не для власть имущих. Свой вход, свой туалет, даже своя личная ванная, много ли советскому человеку надо? У нас появились стимул и образец.

А до тех пор мы привычно жили во всем том, что я не первый раз описываю, просто приспособлялись, кто как может. Тихон-Тиша мог. Он был изобретателен и трудолюбив. В подвале через год после моего вселения он установил водяной насос, который качал к нам воду. Это было незаконно, потому что в этот момент во дворе падал напор и ни у кого из соседей даже на первом этаже вода не шла. За это штрафовали, а могли и посадить. Поэтому Тиша засыпал насос углем. Что-то там иногда протекало, иногда контачило, словом наш Тиша ходил в подвал как на работу. Но жить – во всяком случае мне – стало легче. Кстати, вы обратили внимание, мама тоже незаконно поставила мини-туалет, это был общий подход – законно ничего нельзя было сделать.

Тиша-Тихон был разговорчивым и незлобивым человеком. А еще – непьющим, редкое достоинство. Жена его была довольно нелюдимою и редко выходила из комнаты. Он очень

переживал из-за их единственной дочери, которая была второй раз замужем и жила в квартире нового Тишиного зятя. А еще больше Тиша-Тихон переживал за внучек – старшая от первого мужа, а вторая соответственно от второго. Проблема была в том, что новый зять, кстати как и старый, пил. И чем дальше, тем больше. Это могло плохо кончиться. Я с сочувствием не один раз выслушивал эту банальную у нас во все времена историю и советовал надеяться на лучшее...

Нам всем оставалось только надеяться на лучшее. Продукты из магазинов исчезали один за другим. Если бы не мама и Женя, мне с моим желудком пришлось бы туго.

Это не бытовуха, дорогие мои, то, о чем сейчас рассказываю. Это наше тогдашнее ощущение жизни. Если бы меня тогда спросили, как я живу, я без тени сомнений ответил бы: «Хорошо!» Или даже: «Отлично!» Своя комната, могу два, даже, если припечет, три раза в неделю мыться под душем. Приводить, кого захочу! Предел мечтаний! Если и было, что неладно, так это мои личные переживания, но кто в этом виноват? Ну, прилетала ко мне чертова птица, клевала иной раз. Пока обе, Оля и Аля, не оставляли меня в покое (и как они вместе уживались, интересно?). Все остальное - как у всех. А то, что у всех был, ну ладно, не каменный, скажем пещерный по сравнению с нормальными странами век, никого, кроме каких-то борцов за что-то в столице, не волновало.

В шестидесятом еще не волновало. Пока, как я уже говорил, нас не разбаловал Никита Сергеевич.

Это не повторение уже сказанного мною, а подтверждение на примере своей жизни неоспоримого факта – мы удивительно умудрялись не видеть того, что с нами происходит. И не только, как говорят - «простой народ», но и интеллигенция. Ведь она должна была видеть дальше и соображать лучше? Кстати, я тоже входил в эту прослойку... Впрочем, какая система в стране, такая и интеллигенция. Специфическая.

Какое-то время я привыкал к новому образу жизни в новой квартире. Привык – и начались будни. Довольно быстро боевой настрой, который я с таким усердием вырабатывал самовнушением, стал исчезать, и его место заняла какая-то пустота. «Короче: русская хандра им овладела понемногу». Дополню Александра Сергеевича – в еврейском исполнении. Когда я смотрел на себя в зеркало, то на фоне привычной улыбки глаза по контрасту излучали всю многовековую скорбь нашего народа. Такого раньше не было, у меня были глаза как глаза, серо-голубые, даже, говорили мне некоторые женщины, с веселой искоркой.

Поэтому глава и называется «Два за год». Ведь если много событий или проблем, то говорят «год засчитывается за два». А мои последующие два года были настолько бессодержательными и пустыми, что они у меня даже в памяти не отложились. Поэтому с вашего разрешения, я их просто опушу. Интересы ни к чему не было, трудностей особых тоже. Работа совершенно не волновала, я там по-прежнему тосковал, без конца курил, что было противопоказано моему желудку. На тренировки и в драмкружок ходил «из принципа», раз дал себе такую установку - «жить весело и радостно, как все». Женщины меня – признаюсь – интересовали еще меньше. Это не значит, что их совсем не было, но хоть убей, ни одного лица и ни одного имени не помню. Даже мысли об Оле и Але тоже постепенно перестали приносить острую боль – сколько можно? Они лишили меня вкуса к жизни и занялись своими семейными делами – так я объяснял себе ситуацию.

Впрочем, с Олей я больше не встречался, а примерно через год узнал, что «святое семейство» переехало в Москву. После этого известия я почувствовал справедливость закона Ньютона в моей трактовке, уже известной вам - сила притяжения между людьми пропорциональна квадрату расстояний. Закон в отношении Оли начал работать.

А вот с Алей было сложнее, хотя расстояние между нами, заметьте, то же самое. То ли чувства к ней у меня оказались более земными, то ли обида играла свою роль, а скорее всего – то и другое, но она добавляла к пустоте в душе какую-то тяжесть на сердце.

Есть хорошая, с юмором, ни для кого не обидная поговорка. Но стоит в ней заменить одно слово – «быть» на «жить» - и получится нечто пошрое, унижительное для всех. Получается: «Лучше жить с богатым и здоровым, чем с бедным и больным». Аля замену в поговорке произвела. А я тогда, кстати, на роль второго персонажа – бедного и больного - подходил как нельзя больше...

Я пытался вызвать в душе презрение к ней, и ведь было за что. Презрение то появлялось, то исчезало, а недоумение оставалось. Ведь совсем недавно я готов был свидетельствовать хоть на страшном суде, что Аля способна скорее на жертвенность, чем на предательство. Именно по этой причине я был так в ней уверен, несмотря на ее молчание и мою временную – так я оправдывал себя - беспомощность и нерешительность. Кому после этого – задавал я себе вопрос – можно верить? И твердо отвечал – никому.

Но даже эти чувства вместе с отношением ко всему происходящему вокруг были приглушенными и нечеткими. В общем, у меня безусловно началась серьезная депрессия, хотя не уверен, что тогда знал это слово.

К лету 1962 года я понял, что нужно что-то менять в жизни, если я не хочу превратиться в улыбающийся и бодрящийся овощ. Брокколи, как говорят американцы. Что можно было изменить? Попытки побороть унылое настроение оказались тщетными, я это понял. Значит, оставалась только одна возможность для перемен – найти работу, которая увлекла бы меня хоть ненадолго.

Теперь я должен признаться еще в одном недостатке, который свидетельствует, как мне кажется, о некоторой слабости характера. Видите, как снисходительно я к себе отношусь? «Некоторая слабость характера». Ну ладно...

Когда у меня не хватало духа на какие-то серьезные перемены, я полусознательно делал все, чтобы эти перемены были вынужденны. Если признаться себе честно, спустя много лет, я шел на конфликты, на обострения отношений, чтобы потом с легким сердцем сказать себе: «Видишь, у меня просто нет выхода, я вынужден уйти... перейти... переехать» - оставалось только выбрать глагол. Это не мое изобретение, я уверен, многие так поступают, так легче, но далеко не все в этом себе признаются. Я признался, хотя бы это хорошо...

Именно таким образом я испортил отношения с начальником нашего СКБ. Вступился за какого-то довольно справедливо уволенного бездельника на общем собрании. И общее собрание меня – назло начальству – поддержало. Начальство в мой адрес сообщило, что рыбак рыбака видит издалека. То есть я тоже... Я обиделся, начальство не скрывало неудовольствия. Словом, я с чистой совестью мог сказать себе – я вынужден искать новую работу.

Должен сказать, что мой статус к этому времени изменился, у меня уже была какая ни на есть конструкторская квалификация. Кажется, я был конструктором второй категории, не бог весть, но все-таки. И к тому же, как я уже говорил, это был период активного размножения различных проектных и научных организаций, так что у меня даже национальных проблем в отделах кадров не возникало.

И вообще, хочу отдельно подчеркнуть, что почти весь последующий одесский период мне никто – кроме иной раз алкашей или просто дебилов - не сообщал, что я еврей. Я даже стал забывать об этом своем недостатке – благо других было много. Так что не стоит меня обвинять в том, что я необъективно заиклен на своем еврействе. Впрочем, все равно будут обвинять. Как и те, кто возмутится моим приспособленчеством. Такое спокойствие на национальном фронте продолжалось до определенного и очень важного в моей жизни момента. Когда этот момент наступит, я с вами поделюсь, не сомневайтесь. За мной не заржавеет...

Короче говоря, новую работу я искал недолго. Нашел. Наконец мне повезло, очень повезло; может быть, это была одна из наиболее значительных удач в моей жизни.

На заводе «Проектор», одном из солидных заводов города, в соответствии с веянием времени воздвигли новое четырехэтажное светлое здание для конструкторов. Внизу были просто роскошные и с отличным оборудованием мастерские. Там вполне можно было отрабатывать опытные образцы – не часто встречающаяся в то время практика. И почти целый этаж был отдан под лаборатории – невиданное дело!

Достаточно немногочисленный конструкторский отдел завода и лаборатории переехали в это здание, стали называться, естественно, СКБ, соответственно заняли все начальственные и солидные должности, а исполнителей пришлось набирать.

Меня набрали.

24. Новые времена

Я попал в отдел, который разрабатывал кинопроекторы для пленок от 16 мм и до 70 мм. Весь диапазон и все разновидности. Это был, собственно говоря, ведущий отдел. В этом смысле мне повезло. Повезло и в том, что я попал в бригаду заместителя начальника отдела, грозы молодых конструкторов, который славился своей требовательностью, резкостью и нелегким характером. Он, как и начальник отдела, был одним из отцов-основателей конструкторского бюро завода и дело свое знал отменно. Почему мне, я считаю, в таком случае повезло? Это, пожалуй, вещь необъяснимая, но я и в дальнейшем быстро находил общий язык с толковыми людьми, у которых был тяжелый характер. Подтверждение этому моему утверждению я приведу (надеюсь) в продолжении воспоминаний. Факт удивительный хотя бы потому, что у меня – по общему мнению – тоже был характер не сахар (правда, я по сей день с таким общим мнением не согласен). Словом, несмотря на то, что я не очень красиво чертил, мой новый начальник быстро меня выделил. Может потому, что у него не хватало конструкторов и была срочная работа, а может потому, что у меня все-таки оказались способности к этому делу.

Повезло и в том, что с первого дня я стал проектировать узлы, на деталировке я бы быстро продемонстрировал лень и отсутствие хорошей графики. А на крупных узлах требовалось меньше чертить и больше думать. Мне это нравилось. А что нравилось Илье Григорьевичу (это мой начальник)? Он не славился терпением, не любил долго объяснять, разжевывать – что вы хотите, плохой характер. А я, как оказалось, быстро схватывал, хорошо читал чертежи – это качество не всегда есть даже у опытных конструкторов. И из-за своего плохого характера не пугался авторитета и норовил улучшить предложенное им, но в пределах разумного. Илья Григорьевич как хороший человек с плохим характером – есть такая категория – не мог не заметить, что нередко в разработанных мною узлах появлялась изюминка и нестандартный подход. И, само собой, небезразличное отношение к работе. Этого фанатик-конструктор не мог не оценить.

Почему же эти качества проявились только на новой работе, почему я ничем не выделялся на прежней?

Ответ уже я дал раньше. Здесь мне было интересно. А вот почему интересно? Там мы рисовали воздушные замки, а я к этому серьезно относиться не мог. Не было, как я уже писал чуть раньше, стимула, способного преодолеть мою лень. Была только бумага, которая, как известно, все терпит. Правда, можно было из «чистого» или «спортивного» интереса добросовестно решать свои, конструкторские частные задачи, не думая о том, что все впустую. Что это мартышкин труд. В конце концов, разгадывают же люди кроссворды, не преследуя каких-то особых целей, кроме времяпрепровождения и самоутверждения? Но я, как подтвердила дальнейшая жизнь, оказался в поощрении. Мне обязательно нужны были реальные доказательства того, что я делаю что-то стоящее, а значит и сам чего-

то стою. И чтобы в этом был уверен не только я один. В таком варианте «искусство для искусства» меня не устраивало. Александру Сергеевичу можно было не обращать внимания на мнение толпы: «Ты сам свой высший суд», но он уже тогда был Пушкиным. Мне, каюсь, суд толпы, хоть маленькой, хоть из нескольких человек, был необходим. Скорей всего, это был своеобразный вид тщеславия, смешанного с самоуверенностью и... неуверенностью. Я не был самодостаточным.

Конечно, не все зависело от моего желания, жизнь диктовала свои условия. Но то, что я делал из-под палки, соответственно так и выглядело. На «Проекторе» было иначе.

А вот и пример. И объяснение. Когда я попал к Илье Григорьевичу, он проектировал модификацию одного 35-миллиметрового проектора. Все, что мы чертили, довольно быстро попадало в цех. Спустя какое-то короткое время после поступления на работу я сначала чуть не поругался с ведущим, потом получил взбучку от литейщиков, потом потолковал с технологами... но своего добился. А затем в цехе выяснилось, что на юстировку нашего проектора стало уходить в два раза меньше времени, чем раньше, и до регулировок проще добираться. До сих пор помню, мастер цеха при мне сказал Илье Григорьевичу: «Это так просто. Почему раньше не сделали?» И я про себя нагло подумал: «Потому что раньше меня тут не было».

Словом, начало – впрочем, как и последующее за этим продолжение, – можно было считать удачным. Я оживился, перед сном приобрел привычку обдумывать какую-нибудь конструкцию, которая мне создавала проблемы при проектировании, и это, как ни странно, успокаивало. Я стал легко засыпать, без снотворного, которым уже повадился злоупотреблять. Раньше сон был серьезной проблемой. Я убедился в том, что лечит не только время, лечит и хорошая работа. Причем от всех болезней. Мало того, я утвердился в совковом, ныне совершенно несовременном мнении – в работе деньги не всегда самое главное. Конечно, там, где миллионы, это наверно так. Но в обычном измерении – нет, далеко не всегда. Я и сейчас пребываю в этом заблуждении, хотя в моем положении это не имеет не только практического, но вообще никакого значения.

Короче, я стал не только надеяться, но и верить в то, что никаких серьезных изменений в моей карьере и жизни не произойдет. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» Оказалось, я ошибался...

Илья Григорьевич очень добросовестно загружал меня работой, постепенно привыкал почти всегда соглашаться с моими предложениями. Вскоре я довольно неплохо знал конструкцию всего проектора и ко многим его проблемным местам приложил руку.

Последующие полтора или два года в отличие от предыдущих двух с половиной лет пролетели быстро – время то растягивается, то сжимается, особенно при взгляде издали. Я уверенно продвигался вверх по служебной лестнице. Причем это проявлялось не только в смысле доверия и хорошего, я бы даже сказал уважительного отношения ко мне, но и формально. Я стал конструктором первой категории. Третьим в нашем отделе, а это уже почти элита. У нас были, как я уже говорил, начальник, замначальника и два ведущих конструктора – вот и вся верхушка. И в принципе три сектора. Один ведущий был довольно молодой парень, лет на пять старше меня, он вел сектор 70-миллиметровых проекторов. Звали его Марик. Я его не очень жаловал, наверно ответная реакция – он держался особняком, в контакт не вступал. А остальное начальство было старшего поколения, но в общении они были вполне доступны и понятны.

Второй ведущий занимался группой телевизионных 16-миллиметровых проекторов. Помню их название – ТК 16. Ведущий был прекрасный человек, бывший летчик, добрый, мягкий, очень порядочный, но увы, как конструктор и руководитель, скажем прямо, не блистал... Он был ранен на войне, болел и... в общем, устал. Телевизионные проекторы были самым слабым местом в отделе.

Третий сектор – 35-миллиметровые проекторы - был вотчиной Ильи Григорьевича.

Как и в каждой уважающей себя организации, где много сидящих целый день за столами сотрудников, у нас были и неизбежные интриги. Но в данном случае я говорю не о сплетнях – и этого хватало, а об интригах на высшем уровне. Между начальником, которого звали Семен Львович, и его заместителем Ильей Григорьевичем была если не вражда, то нечто вроде соперничества определено. Как у Станиславского и Немировича-Данченко. Впрочем, те даже не разговаривали, а наши общались, но при случае старались друг друга укусить. Семен Львович работал в основном с Мариком, в свои дела Илья Григорьевич пускал его неохотно. Переманивание сотрудников друг у друга входило в арсенал соперничества. А группа телевизионных проекторов до поры до времени была какой-то независимой территорией, никто из начальства ею не интересовался. Может быть потому, что никому не хотелось разгрести запущенный участок.

И вдруг! Вот это для меня было действительно вдруг!!!

Мы получили заказ на изготовление телевизионного кинопроектора для строящегося Останкинского телецентра. На весь мир было объявлено, что там будет только советская аппаратура, но по качеству не уступающая мировым стандартам.

До этого я написал, что ошибся, когда считал, что в моей карьере никаких серьезных изменений не произойдет. Я действительно ошибся, они произошли. Карьера сделала резкий скачок вверх, это был принципиально другой уровень работы. Начальник отдела назначил меня руководителем новой разработки проектора для Останкино и, соответственно, руководителем сектора телепроекторов. Но главное конечно – останкинский заказ. Это был престиж СКБ. Назначил неожиданно для меня, для Ильи Григорьевича и для всех прочих, включая заводское начальство. А бывший ведущий этого сектора в это время лежал в больнице, потом ушел на инвалидность. Мы с ним, несмотря на разницу в возрасте, были в прекрасных отношениях, я его посещал в больнице до и после назначения. Мне кажется, он был рад за меня и рад избавиться от прессы забот. Человек устал.

А я – я пошел непосредственно под высокую руку самого Семена Львовича.

И дело было, безусловно, не в том, что я поразил своими талантами Сэмэна, как за глаза называли начальника конструкторы (наверно, по контрасту с местечковой внешностью и таким же произношением). Хотя, само собой, ему нравилась моя работа, иначе на этот риск он бы не пошел.

На это решение – я потом долго анализировал - повлияло много причин, как мелких, из серии интриг, так и более существенных. Из мелких: ему приятно было забрать креатуру Ильи Григорьевича – кем я к тому времени считался и являлся - под предлогом общей пользы для завода и СКБ. Но это так, на втором или третьем плане. Дело было не в кадровом голоде, ему начальство предлагало опытных ведущих из других отделов. Он не соглашался, и было понятно почему.

Семен Львович, Сэмэн, был, безусловно, умным человеком, отлично разобрался в нашей тематике, имел большие связи в главке и прочая и прочая, лоббировал там интересы завода и СКБ. ... Но! - если и сидел за доской, то в незапамятные времена. Как говорят – старожилы не упомнят. А может, и вовсе не сидел никогда. Он был хорошим руководителем, но не разработчиком. Разработчик более-менее сложного изделия должен уметь прорабатывать конструкцию хотя бы в общем виде. Сэмэну нужен был не исполнитель, а полноценный ведущий, который бы размещал, придумывал, прорабатывал. Словом, делал бы всю основную работу, под периодическим присмотром босса, знания и чутье которого максимум не позволяли бы зарываться, что впрочем, тоже немало. Вся эта ситуация была на заводе прекрасно известна, и если бы был признанный ведущий, то весь успех – в случае его достижения - достался бы не Сэмэну. О нем бы говорили – опять, как

обычно, примазался. Со мной в качестве ведущего картина была иной - я в этом случае просто выглядел бы темной лошадкой, не больше.

Но мой новый начальник, несмотря на провинциальное (политкорректный синоним слова «местечковое») произношение, был слишком толковым человеком и специалистом, чтобы не заботиться о результатах. Он мне сам пояснил свой выбор. Примерно так.

Завод никогда телекинопроекторы, удовлетворяющие таким высоким требованиям, не изготавливал. Это совсем другой уровень. Нужна была новая база и свежий, незамысленный взгляд. К большому сожалению, от старого доброго ТК-16 камня на камне не останется, иначе новое качество не получишь. А начинать заново очень непросто. Сэмэн, по его словам, следил за мной, и ему нравилась моя активность – он даже сказал «строптивность» - и стремление к нестандартным решениям.

- Этот Эйнштейн сказал: все знали, что этого сделать нельзя, а один этого не знал – и сделал.

Не знаю, как насчет «этого Эйнштейна», но Сэмэн был не так прост и, во всяком случае, знал, как пришпорить лошадей. Но я, как и знаменитый Монморанси из «Трое в лодке, не считая собаки», не нуждался в науськивании.

Прежде всего, я поговорил с Ильей Григорьевичем и попросил его по-прежнему помогать мне, не считаясь с новой субординацией. Он резко прошелся по моему и Сэмэна адресу, но – как я и рассчитывал – в дальнейшем никогда мне в совете не отказывал. Что вы хотите – плохой характер.

У меня было несколько месяцев на подготовку – по-моему, четыре, вроде этого. За это время мы согласовывали техническое задание, я с Сэмэном ездил в главк в Москву, потом в Ленинград, где была головная фирма-разработчик. В Ленинграде я в основном околачивался возле проходной, и на этом этапе могла закончиться моя блестящая карьера. Дело в том, что почти все фирмы, особенно связанные с электроникой, были закрытыми организациями. Нужен был второй допуск, а у меня и третьего не было, вообще никакого. И отчество ни к черту...

Наш начальник отдела кадров (хороший дядька, белая ворона среди отставников) вместе с пробивным Сэмэном оформили мне – ей-богу месяца через два - этот самый второй допуск. Даже несмотря на то, что я при оформлении забыл отчество отца – Лейбович – и присвоил ему более изысканное – Леонтьевич. Кстати сказать, я из-за этого допуска спустя некоторое время не сбежал за границу. Но это уже другая история.

Конечно, было много удачных совпадений, и вполне в сумме все можно считать везением. Так оно и было. Но хочется думать, что все-таки часть этого везения я уже заслужил.

Александр Васильевич Суворов говаривал (раз Суворов, значит, не говорил, а «говаривал»): «Раз везенье, два везенье, помилуй бог, надобно же и уменьье».

То, что это не просто везенье, мне еще только предстояло доказать. Такие подарки судьбы бывают не часто, и нужно их с толком использовать.

25. Трудовые будни праздники для нас

Когда конструктор разрабатывает новое изделие, новую базу, с чистого листа – а это бывает не часто, – то это все-таки творчество. Мне кажется, что приемы примерно такие же, как в искусстве, хотя там работа творчеством признается безоговорочно. Наверно, в искусстве точно так же все сначала зарождается в голове, появляются контуры сюжета, образов и т. д. Когда эти мысли переносятся на бумагу – обычную, чертежную, холст или нотную, то оказывается, что полного совпадения нет и быть не может. И это хорошо. То есть и после овеществления идей и мыслей творческая работа продолжается. У поэтов

короткий опус может сложиться полностью, и то на бумаге наверняка требует доработки. Так я это себе представляю.

Во всяком случае в моих ощущениях это все выглядело примерно так, и признаюсь, я не только относился к процессу создания проектора как творчеству, но был в этом просто убежден. Моя работа принципиально отличалась от обычных конструкторских забот, с которыми я был знаком раньше.

Создание – назовем это так без ложной скромности - нового телекинопроектора было делом необычайно интересным и захватывающим. Дни пролетали как мгновенья. Сэмэн, надо отдать ему справедливость, на меня совершенно не давил, даже подходил редко, думаю – сознательно. Он видел, что я иду в правильном направлении, и решил не сбивать меня с курса. Был момент, когда в одном месте – в креплении магнитной считывающей головки - я допустил серьезный промах. Заметил это спустя какое-то время, переделал и подумал, что Сэмэн не очень внимателен. Но спустя пару дней он остановился у доски, взглянул на измененный участок чертежа – и понимающе ухмыльнулся. Он заметил ошибку, но позволил мне найти ее самому.

Я исподволь, до окончательного согласования технического задания начал проработку основных узлов, а общий контур постепенно созревал в голове. Много беседовал в цехе, в лаборатории, выяснял дефекты почившего в бозе ТК-16. Смотрел иностранные проспекты, их в те времена было негусто – граница на замке! Даже ездил в Москву и покопался в патентной библиотеке. Кое-что, сообщаю по секрету, украл, но тогда это было не только можно, но даже нужно.

Словом, развил бурную деятельность. Оптическими расчетами занимались специалисты из лаборатории – там были толковые ребята. Они тоже заблаговременно разрабатывали оптическую схему, дали мне основные привязки, конденсор, объектив, параметры обтюлятора – извините за технические термины, я не мог удержаться и не похвастаться тем, что еще сохранил это в памяти.

Телевизионный проектор в то время, не знаю, как сейчас, имел одну особенность – у него по обе стороны было два лентопротяжных тракта, один для основной ленты фильма, а другой только для дополнительной ленты с магнитной звуковой дорожкой. Там мог быть записан дикторский текст, музыкальное сопровождение, дублирование фильма и так далее.

Основные наши сложности были именно в элементах лентопротяжного механизма: «стабильность положения кадра в кадровом окне» и «детонация при звуковоспроизведении». (Восхищаюсь своей памятью!) Те решения, которые были освоены на заводе, не позволяли даже приблизиться к новым требованиям. Все понимали, что в том и другом случае нужны новые решения.

Я эти решения предложил. Идеи по тем временам были довольно смелые и оригинальные. Доказательств у меня сейчас нет, придется вам поверить мне на слово. Тем более, что идеи эти уже давно не актуальны, сейчас они наверняка такие же допотопные и замшелые, как и их автор. Что делать, время неумолимо...

Одна конструкция была полностью моя, а другая частично украдена из какого-то иностранного патента. И как всегда в таких случаях, это был риск. А вдруг, наоборот, помехи возрастут? Помню, по этому поводу мы долго совещались втроем со Станиславским и Немировичем Данченко нашего местного разлива, которые ради такого случая довольно долго мирно беседовали у моей доски. В конце концов, здоровое любопытство людей неравнодушных победило. Итоги подвел Сэмэн:

- Пусть этот Эйнштейн делает свое черное дело. Все знают, что этого делать нельзя, а этот не знает. Пусть делает это. Поглядим, что получится.

Сложность была в том, что результат можно было увидеть только на готовом проекторе, а тогда менять решение уже будет поздно.

Когда мы получили согласованное техзадание, уже основная часть проектора вчерне была у меня на кульмане. Важность объекта избавила нас от защиты технического проекта в главке, сэкономила время и силы, но это одновременно лишило нас любых даже микроскопических шансов разделить ответственность с кем-то наверху. Правда, я не очень сознавал, что могу серьезно погореть – я чувствовал себя пролетарием, которому нечего терять, кроме своих цепей. Продолжение этой агитки из манифеста – «приобретет же он весь мир». Так примерно в те счастливые времена я себя и чувствовал.

Сначала мне дали одного конструктора в помощь, потом – по моей просьбе тоже молодых – шесть конструкторов. Интересное совпадение – у всех фамилии заканчивались на «ский». А благородное славянское окончание фамилии на «ов» имел только их ведущий – это я, Поляков. Короче, наша группа так и называлась – бригада «ский».

Сроки были поставлены короткие, рассчитывали на наш энтузиазм и не ошиблись. Мы работали как проклятые. Впрочем, определение не корректное, потому что все работали дружно и с удовольствием. Такая была аура. Мы знали, что заказ очень престижный, от нас зависел во многом авторитет завода. И премии предполагались солидные, мы таких еще не получали (и не получили, но об этом позже). Судьба и карьера каждого из бригады «ский» на этот раз была в его руках. Словом, мы – почти все – не пошли в отпуск, а после того как в конце рабочего дня залы пустели, бригада еще часика два прихватывала почти ежедневно. Некоторые, которые запаривались со сроками, выходили и в воскресенье. В то время штурмовщина была в порядке вещей, но продолжалось это недолго – в конце месяца или квартала. Наш метод скорее напоминал – как мы острили – эксплуатацию человека человеком на Западе. Да, это было не похоже на советский стиль работы – потрепаться, покурить, обсудить новости футбола...

Удивительное было отношение к делу. Помню, первым заболел гриппом конструктор первой категории. Контрольные сборки он делал великолепно – мышь не проскочит. Но я о гриппе. Больной не вылежал положенного срока. Пришел, чихая и сморкаясь, дня через два-три, еще с температурой. А была осень. Через пару дней следом ушли два его соседа. Они тоже вернулись раньше времени, за ними потянулись «оставшиеся в живых». Я не был исключением, и я грипповал по сокращенному графику, зато и думать забыл о своем желудке.

Такое было настроение в нашей бригаде «ский», почти как в советских фильмах о стройках коммунизма. Только там было вранье, а у нас всерьез. Может потому, что мы все были молоды...

И я не случайно рассказываю о том, какие труды мы вложили в эту конструкцию и с каким искренним удовольствием это делали. Потом поймете почему.

Я думаю, что положительную роль сыграло и то обстоятельство, что ведущий был из них – такой же, можно было запросто и на «ты». Поэтому не возникало впечатления, что работаешь на дядю. И я тогда сам не чувствовал себя «чужим». И был искренне рад всему, что происходило вокруг меня.

Пошла тщательная работа над узлами, каждый делал то, что было ему по силам. Я сидел возле досок и дорабатывал, дорабатывал, дорабатывал – вместе с узловиками. Мне тогда все удавалось – бывают такие периоды в жизни каждого человека. На этом этапе мы приняли несколько очень красивых решений, которые потом вылились в авторские свидетельства.

Но гладко не было и быть не могло. Что-то не размещалось, пришлось делать цепочку изменений, оптики что-то не учли – опять передвижки. Словом, обычная работа, только добросовестная и с настоящим, не поддельным энтузиазмом.

Нужно сказать, что высокое начальство считало, что сроки и параметры нереальные, и готовилось – мне Сэмэн сказал по секрету – оправдываться и делать оргвыводы. Я проявил

плохой характер и сказал: «Выкусят». И жестом подтвердил свою мысль. Сэмэн рассмеялся, обозвал меня «этим Эйнштейном» и предложил продолжать свое черное дело.

Если сказать правду, единственное, что меня пугало, - детонация и наше революционное решение со стабилизацией пленки в кадровом окне. Может, стоило пойти простым путем и раза в два – как на других проекторах нашего завода - превысить заданный допуск? Бывали и такие мысли, но редко. Я понимал, что именно от этого решения зависит мой личный рейтинг. И это несмотря на то, что общий уровень конструкции нашего СТК-1 был значительно выше ТК-16. Но как в хорошем детективе, все можно было выяснить только на последней странице - после сборки проектора... Правда был у меня в голове запасной ход, я дома прикинул его в эскизах, но никому об этом не говорил. По-моему, даже себе, если такое возможно...

Когда массово пошла детализировка, мне «подкинули» еще одного конструктора. Но хотя это был не «ский», а «цкая», мы решили, что различие чисто формальное, а в сущности одно и то же. Звали «подкидыша» Муся Вербицкая.

Я уже говорил, что насчет сплетен у нас было все, как в любой подобной организации. То есть все в порядке. Наш общественный телефон сообщил, что Вербицкая, которая только-только поступила к нам на должность конструктора третьей – последней – категории, является матерью полуторагодовалого ребенка, но уже успела развестись с мужем. И не просто развестись, а сделать это очень пикантным способом. Она работала в конструкторском бюро одного завода, а в свободное от работы время с начальником своего отдела завела бурный роман, который выплеснулся наружу. Жена начальника узнала, донесла всем заинтересованным лицам, включая мужа виновницы торжества и парторганизацию - тогда это было принято. Начальник отдела всеми инстанциями и собственной женой был прощен, а муж Вербицкой ушел, оставив бывшей жене только фамилию и ребенка. Девочку. Вербицкая от сплетен сбежала к нам в СКБ, но они ее и тут настигли.

Поэтому новый конструктор пока вела себя тише воды и ниже травы, глаз на мужчин не подымала, с женщинами держалась на расстоянии. Работала добросовестно, может потому, что не с кем было поболтать. Но не буду придираюсь – пока из ансамбля не выпадала.

Была она, в общем-то, симпатичная, хорошая фигурка, приличный рост – не большая и не маленькая. Не совсем рыжая, но к этому приближалась. Немного картавила, не резко, не по-немецки – ддрррациг, фирррциг, а... мягко, как будто притворялась, что картавит. Лет ей было в то время примерно двадцать пять. И была в ее внешности удивительная особенность, которую я до этого встречал только в кино или литературе – глаза разного цвета. Один карий, пожалуй, почти черный, а другой безмятежно голубой. Очень интересное впечатление, хотя иногда из-за этого, казалось, что она косит. Но нет, она не косила, я проверял. На лице и на носу у нее всегда – даже зимой – были веснушки. Не густо, не очень яркие, и это хозяйку лица и носа совершенно не портило. Веснушки были и по всему телу, довольно любопытно, как деревенский ситчик. Но об этом, само собой, я узнал позже, после окончания основных работ над проектором. Разумеется, фамилию я ей для конспирации придумал, но по таким особым приметам, боюсь, ее легко можно узнать. Ладно, рискну, много лет прошло...

Вела себя она прилично, трудолюбиво и скромно. Наверно, урок ей пошел на пользу. Даже пыталась меня называть по имени и отчеству. Но это слишком смахивало на подхалимаж, поэтому она остановилась на промежуточном варианте – Борис и на «вы». Один из наших «ский» меня шутливо предупреждал:

- Будь осторожен. У нее богатый опыт совращения начальников. А ты как-никак ее прямой босс.

Я ему отвечал, что сплетни разводить не мужское дело. И что, по-моему, он сам глаз на нее положил. «Ский» и не отпирался.

К весне 65-го года вся творческая часть была закончена, даже детализировка скопирована. Но скучать было некогда. Как горячие пирожки из-под рук конструкторов к технологам уходили узлы, срочно заканчивались спецификации, комплектующие. Давай, давай, давай... Я работал над инструкцией по эксплуатации, частенько стали вызывать в цех, там началось движение. Нет, скучать определенно было некогда. И все-таки, когда творческое напряжение спало, в голове стали появляться вредные мысли, а в животе давно забытый дискомфорт. Летом я взял две недели отпуска – больше не давали – и снова поехал в санаторий Друскиненкайте. Запустить мою ахиллесову пята – пищеварительный тракт - не стоило.

26. Не делом единым...

В санатории у меня было много свободного времени. Перемещаясь от ванны к бювету, оттуда на массаж, затем на обед и так далее, я вернулся к темам, о которых давненько не вспоминал. Сводились они к распространенной поговорке, немного мною измененной: «не хлебом единым жив человек». Не случайно она вынесена в заголовок этой главы.

А что у меня было, кроме работы? Была, разумеется, личная жизнь. Какая-никакая. Да в общем-то, нормальная. Вроде бы. Грех жаловаться. У меня была своя самостоятельная комната, я мог приводить туда кого захочу и когда захочу. Пару раз в неделю я ел у мамы, иногда три раза. Вначале я ей отвозил на стирку почти все белье – дома подстирывал мелочи – негде было ни стирать, ни сушить. Это, между прочим, меня очень напрягало - мама ушла на полную официальную пенсию, чувствовала себя не ахти, к опухшим ногам добавилось давление, а тут великовозрастный иждивенец. Благо вскоре неподалеку от меня открылась прачечная. Но все равно, я маме и стирать носил, и покушать к ним приходил – в сущности, я оставался полупостояльцем. И даже полунахлебником. Под девизом – «кто о нем, одиноком, кроме мамы, позаботится?» Пора бы и честь знать...

Но дело не только в этом. Однажды на переходе от процедуры к процедуре мне открылась истина – время-то, оказывается, действительно быстротечно. Казалось, так недавно я перешел в СКБ «Проектор» - открылось мне - молодым, подающим надежды, мне еще не было и двадцати семи лет. Я рос, как мне – да и окружающим тоже – казалось, не по дням, а по часам. Бурно стал ведущим важного проекта. И вот сейчас, когда проект заканчивается, мне уже почти тридцать один год, и никакой я не вундеркинд - в этом возрасте вполне нормально не быть на побегушках. В цехе меня уже стали называть по имени-отчеству. Оказывается, время мчится быстрее, чем наши настоящие или кажущиеся успехи. И если трезво взглянуть на вещи, то на работе все, в сущности, протекало обычно и нормально. Никаких сногшибательных темпов. А вот в личной жизни я пока никакого успеха не добился. Построить дом, воспитать ребенка и посадить дерево в обозримом будущем в мои планы, судя по всему, не входило. А тридцать с хвостиком уже натикали... Вам наверняка показалось, что я преждевременно забеспокоился? Но не забудьте сделать скидку на время действия - шестидесятые годы прошлого столетия, тогда были другие темпы и другие нравы.

Неторопливый санаторный регламент позволял мне подводить итоги и строить планы на будущее. Какие итоги?

Самодеятельность я оставил, тренироваться стал реже. Появлялись, как я упоминал, у меня ночные гости. Кстати сказать, наверно это было очень приятно, даже не сомневаюсь, хотя лица и имена смутно проплывают где-то на задворках памяти. Но что я запомнил отлично – две оказии. Одна оказия реально произошла, но моя соучастница перепугалась

больше, чем я, и с радостью согласилась на аборт. А вот вторая пострадавшая долго держала меня в страхе, хотя возможно выдумала беременность, чтобы проверить мою холостяцкую стойкость. В конце концов все утряслось, хотя экономические последствия при моей зарплате... Утешали только надежды на солидную премию. Вот тогда заживем...

В результате этих оказий, я стал с опаской относиться к своей плодовитости. Странно, я не был сексуальным гигантом, нормальный человек, хотя и жалоб в мой адрес в этом смысле не поступало. Но судя по всему, очень бойкими оказались мои посланцы... Ладно, обойдемся без натурализма... Хотя и в будущем мне еще предстояло удивляться этой своей то ли особенности, то ли невезучести.

Все, тема пока закрыта.

Я постепенно приобретал статус стойкого старого холостяка (еще раз напоминаю о скидке на время действия. Сейчас это возраст «юноши в расцвете лет»). Все мои друзья давно переженались, два года тому назад потерял свободу еще один, предпоследний в нашей компании старый холостяк, моя надежда и опора. Теперь о нем заботились, варили еду, теперь и он заботился о жене. Выпивая со мной стакан вина после работы в кафе «Аист», он нервно поглядывал на часы. Мечтал о командировке. Все как у обычных женатиков. Я остался один.

Мама в последнее время тоже твердила, что мне пора жениться. Конечно же, она была права. Нужно, чтобы у меня был нормальный, соответствующий моему возрасту быт. Тем более и здоровье мое настоятельно этого требовало. Сколько можно калечить себя черствыми пирожками и высохшей колбасой? Еще повезло, что мне нельзя было много пить спиртного - желудок бунтовал, - иначе я не стал бы ни за что ручаться.

Я прекрасно понимал, что пора заняться этим важным делом. Видите, судьбоносное решение я называю делом, каких результатов можно ожидать при таком подходе? А тут еще, несмотря на лечебный санаторный режим, у меня начался рецидив старого, судя по всему хронического заболевания, название которому Аля. И параллельно оно дало осложнение на Олю. Вот что значит излишек свободного времени и отсутствие забот! Раньше перед сном голова моя была загружена трудно разрешимыми проблемами, например, как с поверхности плиты удалить пружину защелки зубчатого барабана. В крепком сне я находил и отдых, и разгрузку. А тут никаких забот – и я стал плохо засыпать. Следом привязались и сны, как правило, тревожные, неприятные. Стали появляться Аля и Оля со своими семействами. Оля, еще прилично, так как я их с аспирантом и его ребенком встречал на улице. Идут, крепко держась за руки, красивые и счастливые. С Алей было хуже. Я видел ее у бабки на полатах с толстым лысым Иванушкой-дурачком. Никакой пошлости, все было гораздо хуже. Они просто спали в обнимку, и сквозь сон Аля ворковала, как ей хорошо спится с миленьким Барковым. Ничего хуже нельзя было придумать, даже если очень постараться.

Я старался не думать о них. Не думай о белой обезьяне... Но от меня это не зависело. Интересно, как они выглядят сейчас? А в будущем, еще через лет десять-пятнадцать? Как будет выглядеть Оля, мне было ясно – примерно так, как и выглядела, ну плюс пару морщин. А Аля? Этого я себе не представлял. Госпожа министерша. Располнеет, лицо станет совсем круглым, черное замшевое платье и золотое кольцо на шее – максимум, что я мог придумать из серии богатства.

В Оле я не ошибся, а вот насчет Али не угадал...

А еще на досуге я время от времени занимался поиском смысла жизни, и в этом отношении не был исключением. Все проходили через это. Но заметил, что когда был счастливо влюблен, то необходимости в поисках не было. Вывод последовал автоматически, но практической пользы в моей ситуации от этих рассуждений не наблюдалось.

Тогда мысль, что в этой жизни смысла может вообще не быть, в голову не приходила, она стала появляться позже, с годами...

Несмотря на неожиданный всплеск эмоций и раздумий, я в санатории прилично отдохнул. Прежде всего, мне не нужно было заниматься – как говорят жены моих друзей – этой долбаной кухней и мытьем этой долбаной посуды. Я этих жен прекрасно понимал и сейчас понимаю. Трехразовое горячее питание было по-прежнему для меня пределом мечтаний. Добавьте к сказанному, что во второй половине срока мне «зачли» путевку (помните?), и симпатичная беленькая кругленькая литовочка, вставляя между словами бесконечные э-э-э-э-э, обещала писать горячие письма. Словом, как говорят в народе – все путем. Я возвращался в Одессу в твердой уверенности, что положенный мне объем неизбежного самокопания выполнил и перевыполнил. Работа по сдаче документации, а затем и двух опытных образцов проекторов для Останкино должна окончательно выбить из меня эту интеллигентскую дурь. Проще нужно смотреть на жизнь, принимать ее со всеми плюсами и минусами. А насчет женитьбы – будем думать в этом направлении, не все от меня зависит.

С этими здоровыми и правильными намерениями я и прибыл в Одессу.

Дома и на работе мне сказали, что я посвежел. Мама добавила, что жениться мне надо, сколько можно и т. д. и т. п. А Сэмэн предложил в течение квартала досрочно сдать полностью проект, не расслабляться, на то, мол, есть особые причины. Я поверил ему на слово и с компанией «ский» погрузился с головой в работу. При этом естественно забыл не только о своем хроническом любовном заболевании, упомянутом выше, но даже о кругленькой симпатичной литовочке, которая набралась-таки мужества и написала одно коротенькое письмо.

В это время на сборку в наши мастерские продолжали все в больших количествах поступать детали. Пришлось бегать и на завод, и в мастерские, и в отдел снабжения, и... Словом, времени на всякую ерунду не оставалось. Автоматически вернулся здоровый сон.

В сентябре месяце 65-го года мы полностью сдали проект, до последнего листочка. За три месяца до окончательного срока. Вопреки всем ожиданиям. Был вполне основательный повод всей бригадой отметить долгожданное событие. Когда прочли вывешенные на доске объявления поздравления дирекции, парторганизации и профсоюза, то еще больше укрепились в этом мнении и почти загордились. А когда заметили скромно висящий рядом приказ директора завода, то наше намерение гульнуть переросло в твердое решение. Меня в этом приказе назначили ведущим конструктором, а всем «ский» что-то добавили к зарплате.

Сэмэн мне потом признался, что директор и парторг хотели дождаться опытного образца. Но моему боссу удалось их уговорить. Наверно, в его душе все-таки копошились сомнения, опыт говорил, что не стоит долго ждать милости от природы, а тем более от директора завода. Мало ли что может произойти на этих испытаниях или до них. Сэмэн видывал всякое в этой жизни, но и самым прозорливым в те время не удавалось предугадать даже ближайшее будущее. Советская власть была полна неожиданностей. Лучше было не рисковать. Все-таки какой молодец Сэмэн; я, к сожалению, с опозданием признаюсь ему в огромной благодарности...

В тот же день мы одолжили денег, кто у кого смог, и после работы пошли кутить не куда-нибудь в забегаловку, а в ресторан гостиницы «Красная» - высокий шик. Мы пригласили с собой и Сэмэна и Илью Григорьевича, но те сказали, что не хотят мешать молодежи. Мы не настаивали.

Я сказал, что всем «ский» что-то подбросили к зарплате, а вот «цкаю» обошли. Все-таки она работала на заводе сравнительно недавно. Муся даже пошла кутить с неохотой - обиделась. Но вечер прошел в исключительно теплой, а к концу даже слишком теплой атмосфере. И так получилось, что особенно отличились те, у кого были наибольшие поводы

для радости или огорчения, – я и обиженная Муся. Я в принципе не склонен перебирать спиртное, до этого у меня был аналогичный случай только на выпускном вечере в институте. Когда подобное с Мусей случалось в прошлом, не знаю, но утром я обнаружил нас в постели у меня на третьем этаже.

Я с трудом открыл глаза. В висках стучало, в голове кто-то что-то сверлил. Подташнивало. Я застонал. От яркого света резало глаза – солнце светило прямо в окно. Значит, уже далеко не утро. Хорошо, что вчера мы сообразили взять отгулы. Рядом кто-то пошевелился. Я скосил глаза – повернуть голову сил не было. Муся! На меня не смотрит, улыбается.

Я попытался подумать. Напрягся. Что произошло, наконец сообразил, а как это произошло, не помнил – полный провал. Интересно, она давно проснулась? Если да, то почему не встает? Некоторые – говорил мне опыт – в таких случаях тихонько одеваются и уходят. Наверно, ей интересно, что будет дальше. Мне тоже.

Но Муся дала более прозаическое объяснение.

- Доброе утйо. Я могу пойти и пйивести себя в поядок? Как насчет соседей? Это удобно?

Вчера под парами мы наверняка посещали нашу подсобку, но тогда соседи ее не волновали...

- Конечно, можно, - прохрипел я.

- Тогда отвейнитесь.

Я с трудом повернулся к ней спиной.

- По-моему, у нас есть основания перейти на «ты».

- Да? Не увеена, не помню, - и она весело рассмеялась.

Одесситка, чувство юмора в любой ситуации. И голос довольно свежий, не то что мои хрипы. Явно она помнит, как мы попали с ней в койку. И все прочее... Я решил не уточнять.

Она бесшумно оделась, бесшумно упорхнула в коридор. Там весело и громко поздоровалась – кажется, с Тишей-Тихоном.

- Доброе утйо. Какой солнечный день сегодня!

В ответ бормотание. Точно, Тиша-Тихон.

Хлопнула дверь в нашу подсобку.

Я поморщился. Смотри, какая боевая. На работе она всегда была немногословна и скромна, как монашка. Я удивлялся, как эта тихоня могла завести роман с таким шумным эффектом. Кажется, все не так просто. Нужно быть настороже.

Не было ее довольно долго, минут двадцать. Вернулась. Я посмотрел на нее внимательно – довольно свежая, даже легкий макияж, нет явных следов возлияний и бурно проведенной ночи. А было ли это все? Я попытался вежливо приподняться, но это было выше моих сил. Муся понимающе улыбнулась, подошла к холодильнику, достала бутылку кефира – откуда она знала, что он там есть? – налила в стоящий на столе стакан, пододвинула легкий столик к кровати. Все это она делала быстро и в то же время не суетливо.

- Все. Пойа идти. Меня уже языскивают с милицией.

И ушла. Из-за двери донеслось:

- До свидания. Всего хоошего.

Это она прощалась с соседом. «Могла бы и со мной попрощаться», - подумал я. Выпил с наслаждением кефир... и тут же провалился в глубокий сон. Последняя мысль промелькнула – на работе нужно сделать вид, что ничего не произошло. Надеюсь, у нее на это ума хватит...

На следующее утро я шел на работу с беспокойным сердцем. Я был очень огорчен случившимся. Во-первых, это нарушало мое правило – не заводить шашни на работе. Производственные романы мне казались опасными и банальными. Во-вторых, ее репутация... - я кисло поморщился. И в-третьих, она мне не нравилась. Хочу уточнить, в русском языке понятие «не нравилась» включает большой диапазон значений, от безразличия и до негатива. Так вот, Муся как женщина у меня никаких эмоций не вызывала, хотя и негатива тоже не было - все-таки она была достаточно симпатичной. Но успокаивало то, что она, учитывая факты ее биографии, будет заинтересована хранить наш маленький секрет еще надежнее, чем я.

Я не ошибся. Муся на работе вела себя просто великолепно. Никаких изменений в ее поведении по отношению ко мне, ни потепления, ни похолодания. Все точно так же, как было позавчера и задолго до этого дня. Все было настолько естественно, что я иногда удивленно таращил глаза – а был ли мальчик?

Она оказалась очень предусмотрительной. Утром после загула ребята – и она в том числе – обсуждали вечер в ресторане. Когда я подошел, «ский», который положил на Мусю глаз, полувопросительно-полуутвердительно сказал:

- Так она тебя запихнула в такси?

Я нашелся мгновенно:

- И даже уплатила за меня, потому что водила возле дома сказал – уже уплачено.

Муся подхватила пас:

- Его никто брать не хотел...

- Да, я набрался, как... не буду уточнять. Все, на нас уже Сэмэн косо смотрит. По коням.

Кажется, прозвучало убедительно. Но самым существенным, еще раз подчеркну, было поведение Муси. Насколько естественным, что меня это спустя какое-то время даже стало задевать.

Буквально на следующий день ее забрали к Марику. Мы теперь сталкивались только изредка и даже не каждый день – ее кулман был в другом конце зала. Тем более, что я почти не был в бюро. Валом шли детали, началась сборка узлов, и я почти весь день проводил в мастерских, мотался по цехам. Дел хватало, было не до досужих размышлений.

Таким образом – надеюсь к обоюдному удовольствию – ситуация окончательно рассосалась. Правда, недели через две произошел сбой. Мы столкнулись на лестнице, поздоровались. Вид у Муси был, как всегда, скромно-озабоченный.

- Привет.

- Здйавствуйте.

И я неожиданно для себя даже как-то обиженно сказал:

- Все-таки у нас есть основания перейти на «ты».

Она засмеялась тем смехом, который я слышал у себя наверху, и сразу скромности стало меньше.

- Это еще надо доказать.

Я ничего доказывать не хотел, тем более не понимал, что она имеет в виду. Поэтому недовольно проворчал:

- Ну да, как во французском анекдоте. Дама говорит, что это еще не повод для знакомства...

Она улыбнулась, добродушно, без обиды. А могла бы и обидеться. Потом снова стала серьезной:

- Ну, я побежала. Будьте здойовы.

И продолжила свой путь по лестнице, слегка наклонившись вперед – такая походка у женщин часто означает озабоченность. По-украински – заклопотаність.

Какое-то время после этого я еще замечал, что возле Муси часто околачивается «ский», который положил на нее глаз. Но потом перестал обращать внимание и на это. Они уже были в бригаде Марика, дисциплина его сотрудников меня не касалась. Все ушло в песок. И слава Богу...

27. Дактилоскопия

Сэмэн освободил меня от всех работ, кроме ведения в производстве двух наших проекторов. Со мной остался только один «ский», звали его Степан, Степа. Фамилию естественно не помню. Хороший парень, толковый и добросовестный, что имело большое значение. Мы должны были записывать ошибки, исправлять их в чертежах, не пропуская ни одной. Таким образом мы готовились к выпуску серии, на которую надеялись в случае удачных испытаний. В это время новые телестудии росли как грибы после дождя. А на рынке стран народной демократии (помните еще такие?) тоже был дефицит. В общем, важность нашей работы ценили и на заводе, и в главке. Так сложилась конъюнктура. Я все это рассказываю не для того, чтобы похвастаться, а чтобы понятной была ситуация и на тот момент, и в дальнейшем.

Все с нетерпением ожидали апофеоза – испытаний.

Конечно, были ошибки, были и технологические проблемы. Одной из них оказалось воронение стальных плит, на которых базировалась вся лентопротяжка. Это было удобно для сборки, открыты все поверхности, плита шлифованная. Но воронение было для нас новым процессом. Технолог даже летал на консультацию в Тулу. И все равно, дело было хлопотное, приличный цвет и качество защитной пленки долго не получались. Наконец на заводе сделали три комплекта более-менее достойных пластин, один на всякий случай запасной. Полностью по чертежам их обработали и отправили в нашу лабораторию для проверки размеров, допусков и всего прочего. В мастерской пластины выглядели нормально, я перед отправкой проверял.

И тут произошло ЧП, очень серьезное ЧП, которое могло сорвать сроки поставки. В лаборатории на двух плитах четко отпечатались чьи-то «пальчики», как говорят в детективах. Очень эффектные пальчики, коричневатые на фоне черного воронения с четкими папиллярными линиями. Образцовые. На одной плите – к счастью – только на ребре и на внутренней стороне, внешний вид проектора не испортит. А одна в таком виде определенно не пройдет.

Я перепугался, но шума не поднимал и под каким-то предлогом забрал плиты в цех.

Сэмэна не было, он был в командировке, я рассказал все Илье Григорьевичу. Старый волк знал все на свете. И рассказал, что пот вообще штука ядовитая и разъедает даже металл. Но среди человеческих особей встречаются экземпляры, у которых пот не уступает царской водке. У них в роте был солдат с вечно потными руками, которого к оружию не допускали – как за ствол возьмется, чисть не чисть, а пятна остаются. Есть профессии, которые категорически не для таких людей – там, где металлы с декоративным покрытием, в ювелирном деле... Значит у нас, скорей всего в лаборатории, завелся такой экземпляр человеческой особи.

Это было интересно и ново для меня, но что делать? Не устраивать же на потеху всем дактилоскопическую экспертизу? А может, это случайность?

За выбор покрытия я, как ведущий, нес прямую ответственность. Срыв сроков будет моим проколом и проколом серьезным. Да и сам факт нестойкости покрытия не стоит обнародовать... Даже Сэмэну говорить не хотелось – он так на меня надеялся.

Нужно было принимать срочные меры, и я решил переквалифицироваться в детектива. Прежде всего я помчался к технологу, который занимался воронением. Можно как-то зачистить следы пальчиков? Тот печально покачал головой. Нельзя.

Тогда я повторно отправил в лабораторию плиту, которую считал безнадежно испорченной, попросил ее перепроверить. Ходить за ней следом смысла не было, пальчики проявляются только на следующий день. Ночь не спал и продумывал дальнейшую операцию.

С утра я был в лаборатории – новые пальчики появились. Такие же красивые, как предыдущие. Кто плиту трогал? – все, кому не лень. Она была тяжелой, переносили по два человека, а то и все три. Кому-то мешала, кто-то передвигал, кто-то замерял. Все старались нам помочь, черт бы их побрал.

Я опять помчался к технологу. Мы нарезали из малоуглеродистой стали тонкие пластинки размером 4-5 сантиметров, быстро их кое-как зачернили – воронением это было трудно назвать, но качество значения не имело. Я на них карандашом написал инициалы работников лаборатории. Потом под различными, часто идиотскими предложениями дал поддержать каждому свою пластинку... Не стану продолжать развлекать вас детективом. Оказалось, что это был сам начальник лаборатории Миша Солодов. Его фамилию я запомнил на всю жизнь. Кстати, он действительно без конца вытирал руки. Все сходилось.

И тут я подставился. Поступил глупо и недипломатично. Хорошо, еще ума хватило зайти к нему в кабинет, в конце рабочего дня, когда он там был один. Я был очень зол и расстроен, поэтому прямо и довольно резко сообщил о том, что с такими руками нужно носить резиновые перчатки и еще многое другое. Я не подумал, что такая новость может травмировать человека, не говоря уже о форме сказанного. За Мишей не заржавело, он сказал, что терпеть не может «всех вас, развелись тут, как тараканы, и считают себя умнее других». Я понял, кого он имеет в виду, и ответил что-то насчет баранов, которых и разводить не надо. Словом, скандал был по первому разряду. До мордобития дело не дошло, потому что Миша знал, что я боксер. Это же знал и я, а посему боевые средства не применялись. Вместо этого мы пытались перекричать друг друга.

- Нужно было промаслить как следует!

В этом он был прав.

- С такими пальцами, как у тебя, никакая смазка не поможет!!!

А в этом я был прав.

Так продолжалось довольно долго. Когда мы охрипли, я первый перешел на деловой тон, предложил успокоиться и подумать. Я сказал, что испорченные плиты могут стоить нам дикого скандала. В качестве шантажа добавил, что завлаб с таким дефектом - дело сомнительное, а я никому пока про него не говорил и не скажу, если он обещает пальцем моих деталей не касаться. С этим и ушел, не ожидая ответа.

Словом, мы заключили перемирие, потом мир, а потом Миша даже проникся ко мне доверием и симпатией. А может, мне так казалось. Во всяком случае, я действительно никому ничего не рассказал, хотя иной раз хотелось с кем-то поделиться шепотом: «А у царя Мидаса ослиные уши». Хоть я и не считал себя заядлым националистом, но «тараканов» простить было нелегко...

Миша был в принципе не злой, немного простоватый парень лет тридцати пяти. Какой-то институт он, наверняка, когда-то закончил, очно или заочно. Никто не знал, какой и по какому профилю – Миша во всех направлениях разбирался, я бы сказал, одинаково слабо. А в лаборатории были зубры, отличные оптики, знатоки измерительных приборов и так далее. Один из работников был кандидатом наук, другой готовил диссертацию. Никто этому диссонансу не удивлялся. Мы все от рождения были приучены, что начальник может быть дураком или ни в чем не разбираться, а часто то и другое вместе. В этом была сила и непобедимость советской власти. А Миша заметно комплексовал и был довольно мнительным. Он понимал, что место завлабораторией занимает только потому, что является

не просто ставленником, но даже любимчиком директора завода, а по совместительству и директора СКБ.

Вот мы и добрались до директора. А с этого места, как говорят опять-таки детективы в фильмах, нужно поподробнее.

Я работал на четырех... да на четырех солидных предприятиях. Был там не последней спицей в колеснице, но директоров с трудом узнавал в лицо, так редко они мне, а точнее я им попадался на пути. Не берусь обобщать, может просто мне так везло, но советские директора заводов составляли, я бы сказал, особую касту небожителей. Могу сравнить их с капитанами солидных судов: те всегда – я имею в виду капитанов – сохраняют и даже подчеркивают определенную дистанцию между собой и командой. Но капитан на мостике хотя бы появляется, когда корабль причаливает, и часто даже отдает какие-то команды. Директор дистанцию держит, но может вообще не появляться. Главного инженера знают все, он носится по заводу, в приемной народ, он решает вопросы – даже если плохо соображает. Кому-то вопросы решать нужно! У кабинета директора никого никогда нет, он и сам неизвестно когда явится и куда девался – никто не решается спросить.

Я рассказываю то, что было там, где я работал, не обобщаю. Но мнение у меня есть. Перефразируя уже использованное высказывание Суворова, раз случайность, два случайность, четыре случайности, но бог мой, должна же быть и закономерность...

Что еще объединяло советских директоров, не только заводов, где я работал, но и, по рассказам друзей, других – они все были самодурами. Практически все, за малым исключением. Но каждый на свой лад. Один вечно матерился, другой... словом, по-разному. Самодур может быть очень разнообразен. Вот пикантный пример, для оживления темы. Один директор старого уважаемого завода в солидном возрасте имел в медпункте «личную» медсестру - молоденькую, лет тридцати. Она ему раз в неделю что-то колола, какое-то снадобье, которое привозили из-за границы. Потом они уходили во вторую комнату, сразу за кабинетом. В этот день после обеда к нему нельзя было ни звонить, ни стучать. Абсолютно все на заводе это знали и даже не острили по этому поводу. По легенде он и умер от этих перегрузок. Сгорел на работе.

Рассказываю эту историю не только потому, что она пикантна, а потому что это тоже признак самодурства – чихать на общественное мнение. И еще - в этом примере есть определенная смысловая связь с моим директором, к которому я после преамбулы и перехожу.

Ему было за шестьдесят. Он тоже был небожитель и держал огромную дистанцию между собой и прочим людом, включая заводское начальство. На вид был мрачен и немного странен. Как вы считаете, если (в шестидесятые годы!) мужчина в его возрасте явно подкрашивает редующие волосы и их слегка – и неумело – завивает, то это вызывает удивление?

Такая странность наводила некоторых сплетников на подозрения, что особая забота директора о Мише носила специфический характер. Другие - большинство – думали, что Миша его незаконный сын, и даже находили во внешности нечто общее. А те, кто считал их просто родственниками, были в меньшинстве – уж очень небожитель благоволил к простому завлабу, даже иногда заходил к нему поболтать. Но то, что Миша бывал в директорском кабинете чаще, чем главный инженер, это точно.

Добавлю еще одну известную всем на заводе деталь – директор был очень упрям. Уж если какая ахиня западала ему в голову – конец. Так неожиданно вместо запланированного расширения тесного оптического цеха появилась на месте нормальной заводской проходной арка, удивительно напоминая Триумфальную. А его фраза, сказанная по этому поводу: «В конце концов, это завод, а не пороссячий хвост» – пошла в массы. Теперь каждое решение, даже мелкое, заканчивалось этим афоризмом: «Я думаю, что эту деталь нужно зацементировать. В конце концов, это завод, а не пороссячий хвост».

Наверное, были у него и достоинства... но будем считать, что я их не запомнил. Столько времени прошло. А еще один недостаток могу добавить – удивительная злопамятность. О ней на заводе ходили легенды.

Я и фамилию директора помню, но приводить ее не стану. Все описанное имеет вполне реальную основу, настолько реальную, что может вызвать даже юридические проблемы для меня. Только этого мне не хватало... А вдруг еще не все перешли в мир иной...

Я иногда задаю себе вопрос – может, я все слишком утрирую? Не слишком объективен? Может быть, но очень даже немного. В основном все правда, и ничего, кроме правды...

Вы, я думаю, читая это подробное рассуждение о директорах, уже догадались, что Миша все-таки не утерпел и пожаловался на меня своему покровителю.

Примерно через неделю после скандала в лаборатории, когда я за хлопотами и думать об этом забыл, неожиданно – невиданное дело! – меня позвали к директору. Причем не по телефону, а пришла сама директорская секретарша. Лично. Я перетрухал, и под ее конвоем пошел на завод. По дороге прикидывал, что я такое мог натворить. Вроде все в порядке. Может, разоблачили, что я отчество отцу приписал другое? Особисты – это вам не игрушка.

Когда я вошел к директору, он был мрачнее тучи, искоса смотрел куда-то вбок - была у него такая привычка - и сразу меня огорошил:

- Что вы там, умники, все на одного. Развелось вас... Заруби себе на носу – я Солодова в обиду не дам.

Я не сразу врубился, о чем речь. Поняв, вдохнул даже с облегчением. Хорошо, что не особый отдел. И сразу понял, кого нас много развелось. Но тему обострять не стал. И вежливо обратился к нему по имени-отчеству (которое вам называть не буду):

- Мы с Мишей давно помирились, мало ли что бывает на работе.

- Я никаких гадостей о нем говорить не позволю!

Я опять вежливо назвал его по имени и отчеству.

- Я обещал Мише, что никому ничего не скажу. И не говорил. Мы уже оба забыли об этой истории. И с плитами все в порядке.

- Вы забыли, а у меня память крепче будет. Иди, умник, и моли Бога, чтобы испытания прошли хорошо. Будешь болтать – пеняй на себя.

Я попрощался, еще раз на всякий случай вежливо назвал его по имени-отчеству и с облегчением ушел. По дороге подумал - какой молодец Сэмэн, что вовремя пробил для меня должность ведущего. Сейчас бы мне ее не видать как своих ушей.

28. Банальная история

После беседы с директором я очень огорчился. Вышел с территории завода, но в СКБ, расположенное через дорогу, не пошел. Свернул в ближайший скверик, нашел свободную скамейку и сел расстраиваться. Было от чего. Но что удивительно – я не столько испугался, сколько болезненно, буквально физически почувствовал, как пострадало не только мое самолюбие, но и чувство собственного достоинства. Мне кажется, я тогда впервые осознал, что оно у меня есть, во всяком случае должно быть.

Я думал, что достиг определенных успехов, заслуживаю какого-то уважения, что со мной нужно считаться. Но оказывается, какой-то самодур может походя пнуть меня как собачонку – знай свое место. Этот неизвестно за какие заслуги власть имущий действительно при желании может меня стереть в порошок. И унижительное, до боли унижительное обращение на «ты». Не просто на «ты», а с естественным, каким-то

органичным пренебрежением. У нас в бюро это было не принято. Начальники, те, кто постарше, обращались с нами на «вы». А тут – он мне свысока «тычет», а я ему «вы» и по имени-отчеству, даже, кажется, с каким-то подобострастием, черт бы меня побрал...

Я перебирал обиды, которые были мне нанесены в течение этого короткого разговора. Не последнее место занимало и «развелось вас», Мишина формулировочка, наверняка обсуждали мое происхождение. Хорошо, что директор хотя бы о тараканах умолчал...

Напрасно мне последних несколько лет казалось, что эта проблема осталась в прошлом. Она просто затаилась и ждала своего часа. Стоило только чем-то всерьез задеть чувства вышестоящих, – и я подумал с горечью, что не только вышестоящих, – как нам тут же сообщат, что мы иные. Не ровня. Что мы в сущности чужие.

Я понимаю, что Миша Солодов и безымянный для вас директор – это не те образцы, на основании которых следовало делать окончательный вывод, но и не замечать очевидное тоже было невозможно. Незаслуженная обида обострила мои восприятия. Эта бацилла, – думал я, – внедрилась в сознание моих сограждан, иного, чем я, происхождения, и время от времени можно ожидать рецидива. При любых обострениях, не говоря уже об общественных потрясениях, этот рецидив возможен и даже неизбежен.

За последние годы я привык чувствовать завод и бюро своим домом. И вдруг появилось какое-то отчуждение. Охлаждение. Я понимал, что это не очень справедливо, вспоминал, как совсем недавно, меньше получаса тому назад я и окружающие меня люди прекрасно относились друг к другу. Но к этому воспоминанию невольно добавлялось – добавлялось само собой – словечко «казалось». Казалось, что относились...

Следом за обидой появились и опасения. Они носили вполне конкретный характер. Последние годы началось движение среди очередников на квартиры. Хрущев в этом направлении – надо отдать должное – слов на ветер не бросал. Кое-кто покупал кооператив, тогда очень недорогой, нормально зарабатывающим семьям это было вполне по силам. Правда, одиночка, снимающий квартиру – я имею в виду себя, – на кооператив надеяться не мог. Но завод тоже строил два дома. Я работал в организации относительно недавно и был где-то в хвосте очереди на жилье, поэтому реальных шансов в ближайшем будущем у меня не было. Но мне председатель месткома прозрачно намекал, что в случае удачной сдачи проектора можно будет попробовать пробраться в так называемый «директорский фонд», личный резерв моего недавнего собеседника. Теперь ни о каких «резервах» мечтать не приходилось. И это самое малое, на что может повлиять гнев директора, хотя это «малое», наверно, важнее всего прочего. Хотя арсенал возможностей нашего хозяина трудно переоценить.

Будущее заволочло тучами. Ни просвета. И «обида сердце гложет». А в довершение всего, я никому не могу пожаловаться, обещал об этом не говорить. И дело вовсе не в моей верности слову, гораздо более существенным является сознание опасности – если слухи дойдут до директора, то не сносить мне головы. Как хорошо, что я о Солодове никому не рассказал, даже Илье Григорьевичу. Когда он спросил: «Ну как, нашел преступника?», я осторожно ответил: «Обошлось».

Но сейчас мне до смерти захотелось с кем-то поделиться. С кем-то с работы, кто знал бы, о чем и о ком я говорю. Увы, даже это невозможно...

Время в горестных размышлениях пролетало незаметно. Наверно, меня уже хватились. Я неохотно встал и пошел в бюро. Там пришлось что-то сочинить насчет вызова к директору – событие экстраординарное, и оно требовало разъяснений. Что сочинил – не помню. До конца работы бродил как неприкаянный, на все вызовы из цехов посылал безотказного Степу. А в конце рабочего дня неожиданно – в первую очередь для себя – подошел к Мусе, которая трудолюбиво чертила что-то на кульмане, и сказал:

- Приходи сегодня ко мне часов в семь. Хорошо?

Думаю, очень уж тошно было вечером оставаться одному и пережевывать свое унижение. И как назло, в это время у меня не было даже временной подруги. А может, вспомнил, как она в бюро вела себя после... не знаю толком после чего, назовем это утренней встречей в одной кровати. Вела себя мудро и предусмотрительно, как опытный подпольщик. Наверно, ей можно рассказать, что «у царя Мидаса ослиные уши».

Муся на меня не посмотрела, только опустила вниз голову. То ли это был знак согласия, то ли она перевела взгляд на что-то внизу листа. Я не стал ожидать разъяснений и пошел к выходу, ругая себя за нелепый поступок. Если она придет – могут быть проблемы. Если не придет – будет на работе очень неловкая ситуация. И так плохо, и так не хорошо.

Но на всякий случай по дороге домой купил коробку конфет и бутылку популярного в те времена вина «Токай», с желтой бочкой на наклейке. Прекрасное было вино. Интересно, куда оно подевалось?

В семь часов Муся не пришла. В четверть восьмого тоже. В половине восьмого я перестал ждать. А чувствовал при этом то же, что и любой человек в моем положении. С одной стороны, я был доволен, что избежал осложнений, а с другой, безусловно задевало – мною пренебрегли. Какое из чувств было сильнее, я не успел понять, потому что Муся постучалась в дверь в тридцать пять минут восьмого. Входного звонка у нас не было, мои посетители стучали мне в стенку прямо с лестницы, поэтому я не отреагировал. Дверь ей открыл Тиша-Тихон. Она поздоровалась с ним не рабочим голосом, а тем, который я слышал в достопамятное утро. На этот раз она сообщила ему, что погода сегодня плохая и дождливая. Потом вежливо постучала в мою дверь.

- Привет.

- Пйивет. Извини, что задержалась. Малышку нужно было покоймить.

Она увидела на моем столике «Токай» и конфеты.

- Джентльменский набор?

Я понял, что имелся в виду «джентльменский набор», но молча проглотил выпад. Галантно снял с нее курточку, пригласил жестом к столу. Мы сели, постепенно разговорились, пили вино, закусывали конфетами фабрики имени Розы Люксембург.

Муся сначала немного смущалась, но не сильно и не долго. Я понял, что она приходит в гости к молодому человеку вечером не первый раз в жизни. Правда, и я принимал девушек у себя в квартире с определенными целями тоже не впервые. Так что никаких поводов для осуждения у меня не было. Я никого и не осуждал, ни ее, ни себя. Дело житейское. Тем более что чувствовал я себя с Мусей довольно комфортно, и в этом, должен признаться, была в основном ее заслуга. Она довольно мило о чем-то рассказывала, и при этом не требовала не только моей реакции, но даже моего внимания. Позже я узнал, что это было обычное ее поведение. Если подвести общий итог, то я бы назвал ее присутствие в первую очередь необременительным. Я только однажды, где-то на половине бутылки прервал ее монолог. Набрался решительности, потребовал страшную клятву - «никому ни слова» - и рассказал в общих чертах о разговоре с директором и о причинах его гнева. То есть о дефекте Миши Солодова. Реакция Муси меня разочаровала, хотя с другой стороны – заставила посмотреть на ситуацию здраво. Глазами простого советского человека. Она ни капли не удивилась и не ужаснулась.

- Да, они нас могут с деймом смешать, - так и сказала, хотя неприличное слово в ее исполнении звучало мягче обычного. - Ну и что в этом нового? Ты что, вчैया йодился?

И я, то ли под влиянием приятной обстановки, то ли вина, то ли ее разноцветных глаз почти перестал огорчаться. Но какой-то дополнительный ледок, образовавшийся в моей душе после беседы с директором, все-таки до конца не растаял. Обледенение потихоньку накапливалось...

Хватит пока об этом. Лучше о Мусе и о свидании.

Я сразу же обратил внимание, что не только голос, но и походка ее была иной, не такой как на работе. Она держалась прямо, не было наклона корпуса вперед, который создавал впечатление «заклопотанности». Притворялась ли она в бюро и делала ли это сознательно? Думаю, нет. Муся не была слишком уж сложной натурой, я бы даже сказал, достаточно простой и непритязательной, интриги вряд ли ей удались бы. Просто она там действительно чувствовала себя иным человеком, чем, скажем, на свидании. Там, в СКБ она все время ощущала тяжесть громкого скандала, который тянулся за ней шлейфом...

А на свидании она расслабилась и просто плыла по течению. Скорее всего, сейчас она и была сама собой. Кстати, могу добавить – она не только плыла по течению, но даже немножко рулила. Словом, вечер прошел так, как и намечалось. А я подумал, что та ночь, которую я не помнил, тоже была не безгрешной. Иначе бы не было все так гладко...

Что мне в Мусе нравилось – она была очень чистоплотной, я бы даже назвал ее чистюлей, в то время это не слишком часто встречалось. Запах свежести, хорошего душистого мыла всегда сопровождал ее. И когда только она успевала приводить себя в порядок?

А что еще нравилось? Тело, молодое, крепкое, кровь с молоком... и в веснушках. Я уже говорил - деревенский ситчик. Ну не хватала она звезд с неба, книг в ее руках я так ни разу не видел, только какие-то журналы, как правило, журналы мод. Ну и что? Вести беседы мне с ней не приходилось, она общалась за двоих. То что-то рассказывала, то тихонько, как бы про себя напевала. Слух у нее определенно был хороший. Мое дело было ей не мешать.

Уходить вечером из своего дома время от времени она могла – было кому присмотреть за малышкой. Она жила вместе с любящими родителями, а по совместительству с любящими бабушкой и дедушкой. А бабушка даже ушла с работы, не дожидаясь пенсии, чтобы приглядывать за внучкой. Еще одно удачное обстоятельство – выходить «в люди» мы с моей новой подругой по обоюдному согласию не будем. Строгая конспирация. Одна мысль, что ее увидят с очередным начальником, приводила Мусю в ужас. А меня такое положение вполне устраивало. Словом, были все основания продолжать подобные встречи регулярно.

В этот вечер мы ни о чем не договаривались. Муся ушла в половине одиннадцатого, я, естественно, провожать не пошел – вдруг увидят. Да и жила она всего в двух кварталах от меня, возле цирка. Тогда на улицах было спокойнее, чем сейчас, безопаснее.

А дня через два, встретив ее на лестнице, я спросил:

- Зайдешь?

- Сегодня не могу. Завтйа.

Мы стали встречаться пару раз в неделю. Муся уходила всегда в одно и то же время, никто никогда не делал попытки провести вместе всю ночь. Удобно, приятно и никаких обязательств с обеих сторон.

Банальная история.

29. Западня

Да, это был замечательный период. Скучать мне не приходилось ни дома, ни в СКБ. Было все то, что называется полнокровной жизнью.

Особенно интересно было на работе. Там постепенно материализовался замысел. Удивительный процесс, доложу я вам. «Раньше было слово». В моем случае раньше была мысль, и вот сейчас, на глазах, она приобретала вполне реальные, вещественные очертания. Мысль можно было увидеть, потрогать, проверить - пока только частично – в работе. Удивительное ощущение. Тем более, что детали и вся конструкция в объеме выглядели иначе, чем на чертеже, - знакомый незнакомец. Конструкторы это знают.

Я бы сказал, что есть много общего с рождением ребенка, если бы это сравнение не было таким банальным. Во всяком случае, я к постепенно приобретающему окончательные формы проектору испытывал, ей-богу, какие-то родственные, а может, даже родительские чувства.

Все складывалось довольно удачно. Даже алюминиевое литье, которое всегда запаздывало и, как правило, имело немало дефектов, сейчас появилось вовремя и в довольно-таки приличном состоянии – срабатывало волшебное слово «Останкино».

Так как требования были очень высоки, то и контроль был тщательный. По моему настоянию основные детали, кроме заводского контроля, проходили и нашу лабораторию. Пробрить такое решение было непросто, и тут мне большую помощь оказал Миша Солодов, это повышало его авторитет на заводе. Связей в высших инстанциях, а точнее в одной, но зато самой высшей, у него оказалось достаточно, чтобы соответствующий приказ появился на доске объявлений.

Миша развил бурную деятельность. Он детали пачками отправлял в брак, даже то, что вполне можно было пропустить. А причина простая - он не очень разбирался в том, что в работе проектора важно, а что неважно, впрочем, как и во многих других вещах. Я вынужден был иногда отменять его решения и отправлять некоторые забракованные им детали на сборку, иначе бы мы до второго пришествия проектор не закончили. Возможно, я делал это не всегда дипломатично, возможно, Миша обижался, хотя вида не показывал. Возможно, со своим покровителем он был более откровенен...

А у меня эксцесс с директором не то чтобы совсем выветрился из головы, но как-то отошел на второй план.

К концу сборки напряжение нарастало. Мне кажется, даже не очень связанные с нашими делами сотрудники были заинтригованы: сдадим или не сдадим, а если сдадим – то в срок или не в срок. А если сдадим и в срок – то выполним ли все слишком высокие для нашего производства требования? И ведь – опять-таки как в детективе - проверить ничего толком нельзя, пока не будет полная сборка и не появится новый малогабаритный синхронный двигатель. Еще одно потребовало техническое задание. Такое же техническое задание потребовало этот двигатель разработать и изготовить на каком-то оборонном заводе. А этот завод срывал все сроки и в ответ на наши письма и скандалы кормил обещаниями. «Вот-вот, буквально на днях, уже упаковываем. Еще немного, еще чуть-чуть...»

Представляете ситуацию: стоит готовый СТК-1, светло-серый, панели черные, пульт управления цветной, зубчатые барабаны и защелки сверкают серебром – а проверить ничего нельзя. Другой двигатель не вставишь, все рассчитано на конкретный малогабаритный. Пришлось бы делать доработки, обрабатывать корпус снаружи и внутри, а портить эту красоту рука не поднималась. Почти каждый день мы собирались и решали, что делать. Решали обычно, что еще недельку подождем. Так после полного окончания сборки проектора впустую прошел месяц. У нас вышел весь резерв времени, который мы честно в поте лица заработали нашими конструкторскими трудами и стараниями завода. А главное, если будет неудача, то ни на какие обходные варианты, на которые я вам намекал, времени не остается.

Определенно, на работе скучать было некогда. Интрига становилась физически ощутимой.

А дома? Дома я отдыхал. Изредка ходил на тренировки – нужно же было поддерживать физическую форму. Желудок в этот период, спасибо ему, беспокоил меня по минимуму.

Муся приходила раза два, иногда три в неделю. Она у меня совсем освоилась. Беседовала о чем-то с Тишей-Тихоном, который к ней явно благоволил. Характер у нее был

легкий. Постепенно стала готовить нам на ужин что-то несложное. Убиралась в свободное от основных занятий время. Она сидеть без дела не любила. Что-то передвинула, что-то повесила, что-то чем-то накрыла – и комната моя приобрела почти жилой вид.

Меня по вечерам иногда навещала мама – естественно, без предупреждения, о телефонах пока и речи быть не могло. Приходила она часов в пять-шесть, пока было светло, то есть раньше Муси. Она сразу заметила, что в комнате появилась женщина. И – это было неизбежно – в конце концов, познакомилась с ней.

Мама, как я уже говорил, была умной женщиной, а у них – у умных женщин – часто бывает странное заблуждение. Они считают, что настоящая женщина должна быть приветливой, симпатичной, немного кокетливой, обязательно чистоплотной и не ленивой. Как жена, она должна быть заботливой и не склочной. А ум не только не является признаком женственности, но даже доставляет всем, и ей в том числе, одни неприятности. Муся всеми ранее перечисленными преимуществами обладала. Поэтому на ее присутствие в моем доме мама смотрела положительно. Мне даже иногда казалось, что она была бы совсем не против... Но тут наши мнения совершенно не совпадали.

Если Муся приходила – я был доволен. Если по какой-то причине не смогла прийти – был доволен не меньше. С удовольствием заваливался читать. Или слушал по недавно купленному радиоприемнику «Спидола» передачи классической музыки. Не было у меня к Мусе никаких более сильных чувств, чем приязнь к неплохому и полезному человеку, да еще при этом женщине. Думаю, примерно то же она чувствовала по отношению ко мне, только с корректировкой на мой пол.

Так, насколько я помню, прошло месяца три. За это время я понял, что в характере Муси никогда разобраться не смогу. Если вы обратили внимание, я в принципе женщин любил, некоторые из них ко мне тоже неплохо относились, но понимать их мне, судя по всему, было не дано. Я уже продемонстрировал это на предыдущих страницах. И Муся тоже не выпадала из этого ряда. С моей точки зрения, она, как и большинство представительниц прекрасного пола, была переполнена противоречиями. Правда, многие считают, что именно противоречивость и непредсказуемость поведения являются сильнейшими сторонами женщин. Не знаю, не убежден, но спорить не буду...

А насчет Муси... У нее, как я и говорил, был легкий характер и, сказали бы сейчас, не очень высокий ай кю. Но тем не менее она, как и положено одесситке, имела вполне достаточное для жизни чувство юмора и по пустякам, а иногда и не по пустякам не обижалась. И вот вам противоречие номер один. Я никогда не мог предвидеть, на что она бурно отреагирует, и главное – почему? Например, я однажды, за что-то разозлившись, сказал, что не понимаю, как с таким нетемпераментным темпераментом она могла затеять такой громкий скандал на предыдущей работе. И даже с каким-то испугом ожидал неизбежного взрыва.

Ничего подобного. Она улыбнулась формулировке «нетемпераментный темперамент» - оценила - и спокойно ответила:

- Они оба меня достали. Один йевновал к любому фонайному столбу, а дйугой на йаботе пйоходу не давал. Ну я им и отмочила. Это же я на себя жене донесла. Допекли.

Я открыл рот от изумления. Какое-то минное поле...

Но когда я однажды, очень даже одобрительно оглядывая ее красивое тело, спросил: «Где ты достала такой веселенький ситчик?», - она весь вечер проплакала. Хотя нужно признать, делала это тихо и скромно, без всхлипов и рыданий, просто из глаз текли слезы – и все. Два часа текли слезы.

А вот еще контраст. Муся не была сексуально озабоченной и слишком страстной, в чем ее подозревал «ский», может в надежде на это и положивший на нее глаз. Самая обычная в этом смысле женщина. Но – к моему удивлению – она относилась к процессу творчески, то есть все время придумывала различные, самые удивительные варианты и

позы. Акробатические этюды. Я гадал – это она где-то вычитала, или кто-то научил, или просто такое у нее хобби, потому что особого азарта и криков никогда не было. Тогда зачем эти выкрутасы?

И на закуску. На работе она вела себя скромно, хотя - я видел – предложений было достаточно. Но ни малейшей реакции, бровью не поведет. Не было и тени кокетства. «Ский» как-то обиженно сказал:

– Холодная, как рыба, на удивление. Может, все сплетни про нее чистое вранье?

Мне она о чувствах никогда не говорила, даже намек не было. Откуда же такая покладистость и верность? И заботливость? Потому что ей одной было скучно? А со мной весело? Она у меня в основном сама себя и развлекала. Только изредка с моей помощью, когда без меня было просто не обойтись. Но я понимал, что все не только ради акробатических этюдов, в этом смысле у нее возможностей и без меня хватало...

Словом, я так ни в чем и не разобрался, а может, не старался. По принципу – «не буди лиха». Мне и так было неплохо.

Первым признаком грядущих перекатов в моей судьбе было событие, прямо вроде бы ко мне не относящееся. Отец Муси у себя на заводе получил отдельную квартиру в новом доме, хотя у них условия по советским меркам были относительно неплохие. Они вчетвером жили в довольно комфортабельной и не маленькой двухкомнатной с квартире со всеми удобствами. А их кухня была куда больше моей комнаты у Тиши-Тихона. Но отец Муси был настолько интересным персонажем, что я не могу обойти его молчанием и займу еще немного вашего времени.

Он был довольно высокого роста, поджарый, с покатыми плечами и длинными руками, которые свисали немного вперед. Поэтому его фигура, в общем-то неплохая, выглядела немного странно. Довольно светлые волосы, светлые глаза, нормальный – не большой – нос. Не картавил, говорил без всякого акцента, никаких особых отличительных признаков. Но за версту было видно, что он еврей. Почему, объяснить не могу. Единственное объяснение – он действительно был потомственным евреем. Но где бы он не работал, самодуры и антисемиты в любом ранге – от главного инженера, директора и выше, даже работники горкома, - его привечали и приближали к себе. Я специально наводил справки, и знаю точно, что он не подхалимничал, вел себя нормально, если приходилось – пил с ними водку, если не приходилось – не пил. Но он везде считался их евреем, человеком надежным и исполнительным. Сам он с долей иронии – а может, и без этой доли - говорил: «Я им служу». Он улаживал претензии к предприятию, участвовал в каких-то комиссиях, даже на уровне министерства, числился замом – всегда замом - начальника то ОТК, то отдела главного механика, то еще какого-нибудь престижного отдела. Но всегда был под рукой начальствующего самодура, который считался антисемитом, а иногда и был им в действительности. Я из своего опыта знаю, да и история говорит об этом, что у каждого антисемита обязательно должен быть свой личный еврей. Я про себя Мусиного отца именовал «еврей Зюсс». Поэтому не удивился, когда узнал, что ему – видимо, из какого-то особого фонда – выделили жилье, и следовательно Муся стала владелицей отдельных апартаментов. Но тогда я никакого значения этому не придал. И напрасно.

Родители переехали на новую квартиру, а у нас с Мусей стали возникать проблемы. Малышка, естественно, оставалась с ней, уходить вечерами ко мне заботливой мамаше – а она действительно была заботливой и любящей мамой - стало непросто, не будешь же подкидывать регулярно ребенка бабушке. Я с неохотой иногда приходил к ней, но малышка с семи до десяти вечера – ранее отведенное для наших утех время – была бодренькой, веселенькой и очень хотела со мной играть. Оставаться ночевать я бы не стал под страхом смерти, и Муся это, видимо, чувствовала, а может, и сама разделяла мою позицию. Словом,

наш симбиоз постепенно распадался. И наверно, распался бы в ближайшее время, если бы не очередной поворот.

В это время на работе ситуация стала критической и нужно было принимать решение. В Москву, видимо в главк, выехал наш директор. Сэмэн слезно просил решить там вопрос о двигателе. Через неделю директор вернулся и ничтоже сумняшеся сказал, что забыл спросить о двигателе. Мы поняли, что он до главка не дошел, а зачем тогда ехал в Москву? Но это нас не касалось. Только всегда спокойный Сэмэн зло пробурчал:

- Если бы его память была такая же, как его злопамять.

Пророческое, хоть и не слишком грамотное заявление.

Калечить корпус и вставлять туда другой привод было просто невыносимо. Оставалось одно – я попросил отправить меня в Новосибирск и обещал привезти двигатели в карманах, убив, если понадобится, пару-тройку человек. Разрешение было получено.

Через день, вечером я с помощью Муси собирал вещи, самолет отправлялся в семь утра. И в этот момент мы услышали стук в дверь, потом женский и детский плач, беспорядочные разговоры, затем все стихло – видно гости ушли в комнату Тиши-Тихона.

- Вероятно, дочь и внучки, - объяснил я Мусе. – Поздновато.

Мы продолжали сборы. Но вот, как первые ноты пятой симфонии Бетховена, судьба в лице Тиши-Тихона постучала ко мне в дверь.

Тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук.

Тиша вошел, на глазах его были слезы. Он весь дрожал. Обратился он почему-то не ко мне, а к Мусе. И вскоре я понял почему.

Словом, у его дочки разразился давно ожидаемый скандал, но принял он совершенно дикие формы. Если бы второй зять просто очередной раз напился, просто очередной раз съездил по физиономии Тишиной дочке, то может быть, все как-то утряслось. Но герой дня набрался до такой степени, что когда не застал дома любимую жену, то полез к пятнадцатилетней падчерице. И полез основательно. Был страшный крик, была милиция. Там оставаться было больше невозможно.

Поэтому Тиша-Тихон, по-прежнему со слезами на глазах, страшно извинялся, клялся, что никогда в жизни бы себе не позволил... Но у них одна небольшая комнатка, а у милой Муси, он знает, своя квартира (у нее, черт побери, секретов от моего соседа не было), и он знает, что мы любим друг друга (откуда, опять-таки черт побери, ему известно больше, чем нам?), иначе он бы никогда в жизни...

Милая Муся расплакалась вместе с ним, сказала, что, конечно, она понимает, это вопрос жизни и смерти... Какие в таком положении могут быть вопросы... Все мы люди и должны помогать друг другу...

На меня никто не обращал внимания, и они, оба - рыдая, стали дружно собирать мои вещи. Тут вошла дочь Тиши-Тихона со старшей внучкой, плачь соответственно усилился, всем было не до меня. Мне даже кажется, что если бы не нужно было тащить вещи, обо мне совсем забыли.

Той же ночью я оказался на довольно удобной тахте в Мусиной комнате, а хозяйка с дочкой спали в гостиной. В семь утра я вылетел в Новосибирск.

В Новосибирске все было просто. Никого убивать не пришлось, хотя стоило бы это сделать. Двигатели были готовы, лежали на складе, просто до них руки не доходили. Обычный бардак. Предприятие было большое, у них сейчас шел крупный оборонный заказ. Двигатели были чем-то вроде ширпотреба. Мы писали жалобы на имя дирекции, но сигналы от головы до рук просто не доходили. Мне в тот же день с удовольствием под расписку отдали довольно тяжелую коробку с двигателями и комплектующими к ним.

Я не убил виновников, я поступил более изощренно. Мне дали подотчетные деньги на «непредвиденные расходы», хотя все понимали, что под этим подразумевается пьянка с нужными людьми – в то время взятки и откаты еще не были повсеместно распространены. Так вот, я пригласил именно тех людей, которых бы стоило расстрелять за месяц нашей нервотрепки, – начальника моторного цеха, начальника отдела сбыта и завскладом вместе с их помощниками в ресторан. Там я напоил их так, что два дня головных болей им было обеспечено. А начальника отдела сбыта вместе с такой же пьяной, как он, любовницей подвез к дому и попросил таксиста посигналить погромче.

Через день я уже был в Одессе.

Самолет прилетел вечером. Я взял такси, забросил коробку с драгоценными двигателями на заводскую проходную и поехал к маме. Она знала о командировке в Новосибирск, а предупредить ее о смене места проживания мне, как вы понимаете, не удалось. Усталый после непростого перелета с двумя посадками, я без особой дипломатии сразу вывалил на нее все новости. О том, что пьяный зять приставал к падчерице, что дочь Тихона с детьми вынуждена вернуться домой и что сам Тихон со слезами просил меня освободить комнату. Плакал, как дитя.

Мама меня очень любила, переживала мои успехи, а еще больше неудачи. Но все-таки в первые минуты она не смогла скрыть своего ужаса. Она представила себе, что в эту комнатку, лишенную удобств, где живут два пожилых и больных человека, ляжет в их ногах (кстати, раскладушку давно выбросили) взрослый мужчина тридцати одного года. Даже на относительно короткое время! Это действительно было бы ужасно! Но не выбрасывать же сына на улицу...

Я осознал свой промах и поторопился сообщить, что мои вещи у Муси и я там какое-то время поживу. Мама покраснела, ей стало стыдно за столь явный испуг... Словом, тут уже и до сердечного приступа было недалеко. Они с отчимом приняли по порции корвалола, и беседа вошла в более спокойное русло.

- Он плакал, как дитя, - еще раз оправдал я Тишу и себя.

- Конечно, плакал, - сказала мама. - Ты там прописан больше пяти лет. По закону ты точно такой же квартиросъемщик, как он. Тебя выгнать нельзя. Только умолять.

Тогда действительно был такой советский закон. Поэтому и квартиры сдавали неохотно. Поселишь, а потом не выгонишь.

- Ну ладно, - мама явно успокаивалась и начинала размышлять. - Поживешь пока у Муси...

Потом в глазах у нее промелькнуло что-то такое, что мне не понравилось. Она и до этого не очень скрывала, что не прочь меня, великовозрастного балбеса, пристроить хотя бы в таком варианте.

- И не заикайся. Я найду квартиру и перееду, и говорить не о чем.

- Найдешь... Ну, ну... С Тихоном тебе повезло, потому что на такую конуру желающих не было.

А после паузы задумчиво и даже как-то мечтательно продолжила:

– Чудная квартира у Муси. Ухоженная. И Муся такая чистюля...

- Мама, речь идет не о квартире, а о Мусе. Мама, я ее не люблю.

- Но ты с ней... - она так и не смогла выговорить неприличное слово «спишь».

Я был более современным, чем она, я поставил все точки над «i».

- Спать с человеком и жить с человеком не одно и то же, - эту гениальную мысль я уже когда то изрекал.

Затем последовало все то, что предыдущее поколение испокон веков говорит последующему. О том, что нынешняя молодежь не имеет ничего святого и так далее. Вы

это знаете. Вы это выслушиваете от родителей и говорите детям. А закончилась нотация тоже классическим:

- Я ничего не советую, ты мальчик большой, - и не удержалась, – даже уже немножко старей. Смотри. Поживи пока, все равно другого выхода нет. – На этом месте она опять покраснела, снова мысленно обвинив себя в эгоизме. – А может, - опять мечтательно сказала она, – как в поговорке - стерпится слюбится?

- В этой поговорке главное слово не слюбится, а стерпится. Я не хочу, чтобы всю жизнь терпелось.

В принципе на этом мы и закончили. Я отправился на место своего нового проживания – домом я Мусину квартиру даже в мыслях не называл.

Хозяйка меня ждала с ужином. Никаких разговоров и агрессивных действий не начинала. Вела себя, я бы сказал, обыденно. Нет, подчеркнуто обыденно. Но я был настроен не так мирно. Мне казалось, что я не по чьей-то злой воле, а силой обстоятельств оказываюсь загнанным в угол. Поэтому сразу же обговорил условия: я снимаю комнату, пока не найду другого жилья – Муся согласно кивнула головой, - и буду за комнату платить.

Но тут она спокойно и здраво предложила, как ей кажется, более разумный вариант. Это будет глупо, если каждый на кухне будет себе стряпать. Да так и не будет, это ерунда. Нереально. Она готовит на себя и малышку, добавит и для меня немного. Тем более, у меня сейчас такая свистопляска на работе. Я кивнул, хорошо, что она это понимает. А она продолжала. Лучше будет, если я буду давать деньги на еду и хозяйство, в получку и аванс. Она знает, что я не жадный, и она тоже не копеечница, договоримся...

Словом, я развесил уши и согласился. И только задним числом понял, что это практически и есть семейный бюджет и семейный образ жизни. Но в главном она была права – меня ждали как минимум два сумасшедших месяца на работе. Мы выходили на финишный рывок. Все остальное на данном этапе действительно маловажно. И чем спокойнее будет дома, то есть точнее на месте моего проживания, чем меньше меня будет отвлекать всякая бытовая ерунда, тем будет лучше для дела. А дело сейчас – самое главное. Потом будем разбираться.

То ли я действительно так думал, то ли успокаивал себя – не знаю. Но ощущение, что я попадаю в западню, все-таки меня не покидало.

30. Так не бывает!

Я не ошибся в прогнозах. Следующие месяцы действительно были сумасшедшими.

Но я, честно говоря, предвидел другое развитие событий. Я знал, что новая база, новые узлы, компоновка – все это таит в себе кучку неожиданностей в любом месте. Я не говорю уже об очень высоких требованиях. А если придется делать обходной вариант? А если придется снижать уровень шума? Работа бесконечная и почти безнадежная... Да мало ли что может быть с совершенно новыми узлами, которыми битком набит проектор. А до вызова комиссии оставалось максимум месяц-полтора. Я готовился дневать и ночевать на заводе.

Да, я не очень угадал. Но если развитие событий оказалось иным, то загадок меньше не стало. И сумасшествия тоже хватало, даже с избытком. Время, люди, события сплелись в один клубок. И в моих воспоминаниях они тоже выглядят сплошной мешаниной. Так сумбурно я и буду их описывать. Короткими и не всегда связанными отрывками.

Но прежде всего о работе. Заинтересованные люди на заводе уже знали, что двигатели будут, – я звонил из Новосибирска. Утром наши электрики окружили проектор. У них ушло

двое суток – мы практически их домой не отпускали – на отладку и исправление ошибок. Что-то они не учли. Я в это время вращался вокруг них, попутно отгоняя от плит Мишу Солодова, – комплексная проверка происходила в лаборатории.

На третье утро мы приступили к испытаниям. Было два варианта: либо проверить прежде всего проблемные параметры, либо – садистский вариант – идти по порядку в соответствии с программой испытаний. Мы выбрали садистский вариант, может быть в душе стараясь оттянуть неизбежные неприятности. То есть сначала произвели обкатку – уже не помню, сколько часов, но долго. Потом по предусмотренному порядку проверяли не торопясь каждый пункт программы и каждый параметр. В течение недели, то есть шести дней (и вечеров), мы тщательно, меняя для надежности приборы, испытывали первый проектор. Потом, со страхом и нервно принялись за второй, обмениваясь недоуменными репликами и растерянно почесывая затылки. Сэмэн почти все время был с нами. И вообще от одиночества мы не страдали, наоборот, все время разгоняли многочисленные экскурсии.

Второй проектор проверяли с еще большим пристрастием, чем первый. И – помню была суббота, на улице было уже темно – наконец закончили. Вот тогда Сэмэн и сказал историческую фразу:

- Так не бывает!

Весь последующий опыт моей довольно долгой конструкторской жизни только подтверждает справедливость слов Сэмэна. У меня еще были успехи в работе, и даже довольно значительные. Но такого абсолютного результата не было никогда. Знаете, когда стрелок выбивает сто из ста, то превзойти этот рекорд уже невозможно, он остается вечным, его можно в лучшем случае повторить.

При проверке двух проекторов мы выяснили, что не только выдержали все – абсолютно все! – высокие требования, но даже оставался запас. Где больше, где меньше, но запас был. Мы могли смело смотреть в глаза любой комиссии. А мои личные фирменные успехи – снижение детонации и прижим в кадровом окне – дали такой результат, что было от чего возгордиться. Их проверка прошла под аплодисменты зрителей, и это не форма речи, аплодисменты и зрители действительно были.

Все это было так неожиданно, мы все так долго готовились к испытаниям и неприятностям, что даже не имели сил радоваться. И – по-моему – у каждого оставались сомнения. «Так не бывает!..»

В субботу я пришел на свое новое место жительства не только веселый и счастливый, но и какой-то опустошенный. Ни о чем не нужно было думать, беспокоиться, переживать. Нервное напряжение сменилось усталостью. У Муси меня ждал праздничный ужин и бутылка шампанского. Она знала, что мы сегодня заканчиваем испытания, и догадывалась о результатах. Собственно, все в СКБ это знали. Я был очень признателен ей и за внимание, и за праздник, и за две недели, когда я поздно и измотанный приходил к ней домой, как к себе. Она была внимательной, отстраненной, скорей похожа на хорошую соседку или хозяйку, чем на любовницу. Кстати, для последнего определения у нее не было никаких фактических оснований. И мамина высокая мораль могла быть спокойна – мы с Мусей не спали в том смысле, который мама подозревала. Во-первых, я, как уже говорил, приходил как выжатый лимон, а во-вторых, малышка в это время суток была гораздо энергичнее меня и засыпала намного позже.

Кстати, как я к ребенку относился? Хорошо. А какие чувства испытывал? Чувство вины. Я ощущал себя виновным в том, что я не ее отец, что не могу к ней относиться, как отец. Ее папаша отделялся алиментами, к малышке не приходил ни разу. А заметно было, как она нуждается в родном мужчине! Мне было жаль их обеих, но я сознавал – можете считать меня кем угодно, я и сам себя не очень щадил – сознавал, что помочь им ничем, увы, не могу.

Вечер прошел тихо и умиротворенно. Правда, в конце Муся рассказала, что приходил участковый. У него есть сведения, что здесь живет посторонний без прописки. Участковый получил бутылку коньяка, а взамен дал две недели на оформление. Она не продолжала, но глаза ясно говорили – если ты хочешь остаться, то нужно что-то делать, если нет... то тоже нужно что-то предпринимать.

У меня теперь появилось время обдумать будущее, но сил на это не было. Я отложил на потом.

Все воскресенье я проспал. А в понедельник утром в лабораторию пришел весь бомонд завода и СКБ во главе с директором – главные инженеры, секретари парторганизации, председатели месткома и сопровождающие их лица. Пояснения давал Миша Солодов, а я забился в угол от греха (директора) подальше. Миша вел себя неплохо, но все норовил погладить проекторы. Я испереживался. Он был единственной опасностью, которая могла сорвать так прекрасно начатое дело. Я не преувеличиваю. Вы представляете коричневые папиллярные линии на новеньком с иголки проекторе? И опасался не напрасно – в конце концов Миша увлекся. А я не выдержал и довольно громко окликнул:

- Миша!

Он вздрогнул и отдернул руки. Директор бросил на меня взгляд, который трудно было назвать доброжелательным.

Кстати, на одном проекторе пальчики все же появились. Я на них наклеил веселенькую эмблему СТК-1. Сэмэн удивился, но промолчал.

Комиссия должна была появиться через три недели, а пока я на работе предавался непривычному безделью. Было время подумать о себе. И о Мусе. Искать новое жилье я пока не принимался, решил подождать грядущего: буквально на днях – распределения жилплощади. Чем черт не шутит. Хотя понимал, что это опять иллюзии, оттяжка времени, решение ничего не решать.

Итак, я отдыхал от всех и всяческих забот, считая, что заслужил. Правда, в глазах Муси я читал что-то иное, но пока не стал обращать на это внимания. А вдруг само рассосется.

31. Перекаты

Ничего не рассосалось. Меня начали нагружать проблемы, которых я не предвидел. Проблемы, связанные не только с моим новым местом жительства, но и с местом, которое собрался занять в этой жизни вообще.

Повторно пришел участковый, пришел вечером и застал меня в кровати - хорошо, хоть в своей и в одиночестве. Спасибо малышке. Участковый вел себя очень решительно и даже угрожающе. В те времена прописка была делом государственной важности. Взял бутылку, дал еще срок. Небольшой.

Я посоветовался с мамой, та посмотрела на меня хитрым глазом и сказала:

- Пропишись, пока суд да дело. Квартиру найти непросто.

Я не рассказывал ей о будущем распределении жилплощади на заводе. Не хотел внушать ложных надежд.

Мы с Мусей пошли к паспортистке; кстати, она была из «наших». Но стерва.

- Ах, вы дочь Штейна!

Оказывается, фамилия Мусинога отца Штейн.

Фамилия была произнесена с таким придыханием, что я насторожился. И, кажется, не напрасно. У меня появилось ощущение, что «еврей Зюсс» и здесь командует парадом. А

может, не только ощущение, потому что из целого вороха не очень связанных предложений паспортистики сам собой напрашивался вывод - если бы мы поженились, то прописка была делом решенным. А так есть ряд требований, которые...

Муся ничего не говорила, ничего не предлагала, ни на чем не настаивала. Не вмешивалась. Вела себя спокойно, как обычно. Она вела себя хорошо. Обо мне это сказать было трудно. Теперь я после работы приходил рано, ужинали мы вместе. Иногда я уходил читать, иногда сидел в гостиной и слушал рассказы и легкие напевы Муси – вы помните такую ее привычку? Когда я лежал у себя на диване и читал, дверь в гостиную была открыта – малышка бегала туда-сюда. Не запрещаешь же, это будет выглядеть беспардонно. Наше проживание фактически одной семьей было лакмусовой бумажкой, которая еще раз доказала – я Мусю не люблю. Отношусь хорошо, ценю и уважаю. Но не люблю. Ну что тут поделаешь... Я начал отчетливо сознавать, что жить в одной квартире с нелюбимой женщиной тяжело. Одно дело, когда она пару раз в неделю приходит на пару часов. А тут вы все время вместе дома, а потом еще и на работе. Я почувствовал, что ее стало слишком много для меня. При этом прекрасно понимал, что стыдно быть таким неблагодарным. Но самоедство только увеличивало мое раздражение. «А ведь это только начало», - думал я...

Наверно, избушка повернулась к лесу передом, а ко мне задом, потому что это действительно было только начало. Неприятности продолжались.

Буквально за пару дней до прибытия комиссии по приемке проектора в местком произошло долгожданное распределение квартир в одном из почти построенных заводом домов. Мне, естественно, ничего не досталось. Председатель месткома, который ко мне благоволил, объяснил:

- Ты не думай, тут дело не в директоре. - И как честный человек добавил: - Хотя я не уверен, что он дал бы. Чем-то ты ему досадил. Но дело не в нем. Ты знаешь, у нас народ за квартиры глотку перегрызет. У меня куча заявлений.

И он достал пачку тетрадных листков.

- Смотри, все пишут, что ты живешь с Марией Вербицкой в ее большой двухкомнатной квартире. А не женитесь вы потому, что хотите получить еще одну квартиру и продать ее. Это правда? И Мусина дочка называет тебя папой?

Что я мог сказать? Заходила одна соседка за сахаром, потом еще одна. И малышка иногда действительно называет меня папой. Разве ей запретишь?

Одесса большая деревня.

Я автоматически взял пару листиков, стал читать. И на первом же обнаружил: «Как все-таки они хорошо умеют обдeldывать свои денежные делишки за счет народа!» Я знал подписавшего, токарь, мы с ним здоровались. Человек как человек. Выходит, мы не народ... Но может, он ничего такого не имел в виду? «Они» - это просто мы с Мусей, а все остальное - мнительность, в которой нам, евреям, при всем желании не откажешь.

И все-таки на душе стало совсем мутно...

- Я не хочу вмешиваться, Боря, но Мария хорошая женщина. Мало ли что говорят, с кем не бывает. Ты ее добьешь, если и сейчас... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать...

Я не хотел вину за неполученную квартиру повесить на Мусю, она-то точно ни в чем не виновата. И все-таки повесил, помимо своей воли. Я не мог ни в чем ее обвинить, но именно это увеличивало мое раздражение. Мне стоило больших трудов его не демонстрировать, улыбаться и вести себя как человек, который видит только тепло и заботу.

Потом состоялась беседа с евреем Зюссом. Он пришел вечером, когда Муси с малышкой не было дома. Поздоровался.

- Дочки нет дома, - скорее констатировал, чем спросил он.

- Они поехали к бабушке... и дедушке.

- Да? – почти натурально удивился он. – Как же я с ними разминусь...

Я пригласил его к столу. Сели.

- Никак не удастся поговорить с тобой. Я хотел узнать...

И он замолчал. После паузы:

- У Муси ничего не узнаешь. Такой характер.

Я уже начал догадываться, что дочь в папу, что у нее внутри тоже крепкий стержень.

Только снаружи это не очень заметно.

- И у вас такая ситуация...

Опять пауза. Я молчал. Еврей Зюсс тем временем – по лицу было видно – наблюдал за мной, что-то обдумывал, делал какие-то выводы. Мне было интересно, к чему он пришел, и я спросил:

- А что, по-вашему, должен делать человек в такой ситуации?

- Оставаться человеком, - сказал он, вставая со стула.

Попрощался и ушел. Задуманного разговора не получилось.

Чистюля Муся каждую неделю меняла постельное белье, через день у меня были чистые поглаженные рубашки. Она приучила меня мыться тоже через день – несоветская привычка. Говорила – белье в ванной, там полотенце. Переоденься, пожалуйста...

Приходилось заодно и мыться.

Кушать она готовила отменно, всегда учитывала особенности моего желудка.

Я жил хорошо. Очень хорошо. Как в раю. Если бы я ее любил, хоть немного любил... Я бы тогда не злился. И мне не казалось бы, что моя идея фикс – нельзя жениться по принуждению – святая истина. А так прекрасные условия, непривычные для меня, только усиливали внутреннее раздражение, которое разъедало даже то хорошее, что было... Моя благодарность к ней росла в ущерб всему остальному.

Потом я немного отвлекся от личных забот. Прибыла комиссия, ответственные лица из главка, министерства, Останкино, главный конструктор завода-конкурента. Это был праздник души. Ни одного замечания, только похвалы. И Сэмэн бы доволен, на этот раз большая и вполне законная доля славы досталась и ему. Был банкет для гостей и начальства. Я в данном случае был там на правах именинника.

В первом тосте директор предложил выпить за создателя проектора Сэмэна. Все выпили. Потом Сэмэн встал и предложил тост за душу и голову проекта, этого Эйнштейна, который не знал, что сделать этого нельзя, и сделал это. Все выпили за мое здоровье. Хороший был человек Сэмэн, царство ему небесное... Словом, все было замечательно, кроме того, что директор меня просто не замечал. Но выпив, я в свою очередь перестал замечать его. И ехидно ухмыльнулся, когда директор предложил выпить за успехи нашей лаборатории и ее руководителя. А этого – я имею в виду свою улыбку – делать не нужно было. Если бы не эта ехидная ухмылка, возможно, все еще можно было бы спустить на тормозах...

Но, судя по всему, я занесся и решил, что уже ухватил бога за бороду...

Мы отправили проектор в Останкино, а несколько дней спустя и я уехал за ним в Москву для монтажа и обучения персонала. Две недели прошли как в сказке. Хотя в блоках Останкино – я даже помню, что их именовали АСБ 7 и АСБ 8, – еще конь не валялся. Мы и там были первыми.

Весенняя Москва, гостиница того же названия, отличные и огромные соленые грузди в ее ресторане, вкус которых я помню до сих пор. Прекрасные две недели! А еще – стыдно в

этом признаться – я пошел в министерство пищевой промышленности, чтобы узнать там адрес Баркова. Но остановился на полдороги... В тот приезд я Алю не повидал.

Возвращался в Одессу с неохотой, мой сомнительный семейный статус очень меня напрягал. Я действительно не знал, как поступить. Теперь, после обнародования того, что малышка называет меня папой, мой уход будет для Муси тяжелым ударом, новой травмой, черным пятном на ее репутации – Одесса большая деревня. Но жить с человеком без любви, только из чувства долга это тоже тяжкое, для обоих очень тяжкое существование. Где выход? Где?

Я его не видел.

Муся встретила меня, как всегда, приветливо и спокойно. Ужин был вкусный и почти диетический. Она привычно что-то рассказывала, малышка взобралась ко мне на колени и назвала папой. Господи, что делать?! Муся, я заметил, немного осунулась, а глаза – оба, и черный, и голубой – смотрели не слишком весело.

Была пятница. В субботу я на работу не пошел, потом был выходной день. Муся тоже взяла отгул. Она сказала, что получена премия за наш проектор. Только по разделу «разработка новой техники», то есть только на СКБ.

- Самашедшие деньги, - сказала она. - Мы таких еще не видели. Показуха, Останкино, что ты хочешь! Ты получишь минимум тщи оклада, если не больше. И мне пеепадет. Йазбогатеем!

Дело в том, что у нас в министерстве – не знаю, как в других, – было жесткое правило: ведущий конструктор получает больше всех. Так боролись с жадностью начальства и всяких присосавшихся. Это было, были при Советах и хорошие правила.

- Они два дня заседали в местком. Не знают, куда деньги девать. Но что-то там не вытанцовывается. Собйались все начальники. Потом пошли к дийектойу, потом вейнулись в местком. А Сэмэн к дийектойу раз двадцать бегал.

Что ж, премия - это хорошо. Решили кутнуть авансом. Погода была теплой, одесский апрель. Солнышко. Весна. Пошли в ресторан гостиницы «Красная», памятные для нас с Мусей места. Пошли вместе с малышкой, не прячась, все равно о нас уже всем известно. А я решил пожить немного в семье, может, ничего страшного...

Пили, ели, малышка хотела сидеть только у меня на коленях. Муся оттаяла и даже посвежела. Когда возвращались назад, появились, как в романах, тучи на горизонте. И настроение упало.

Нет, ничего не помогало, внутри накапливалось раздражение, и я с этим ничего не мог поделать. Вы уже знаете, что некоторые считали мой характер сложным, но злым и грубым меня никто не называл. Ехидным иногда, может быть, но я считал это остроумием... А тут почувствовал, что внутри зарождаются самые безобразные чувства. Возникает совершенно необычное для меня желание нагрубить, поскандалить. К вечеру это желание усилилось. Я взял себя в руки и спокойно, даже приветливо сказал, что пойду прогуляться, благо на улице была моя любимая одесская погода – теплый весенний мелкий дождик.

Что делать, что делать?!

Я пришел поздно, когда все уже спали. Или делали вид, что спят.

В понедельник я вышел на работу, отчитался в бухгалтерии о командировке. О распределении премий еще ничего не было известно, но все радостно потирали руки. Никто не работал. И тут Сэмэн позвал меня в кабинет. Он был явно расстроен.

- Я не знаю, что вы ему сделали, но он уперся, как...

Сэмэн не сказал, кто уперся и как уперся, но я понял, что речь идет о директоре.

- Он сказал, что вам премия не больше одного оклада...

Я переваривал услышанное.

- Но тогда все мои ребята получают еще меньше...

- Я ему говорил. Но вы знаете его злопамять. Он уперся, как...

Это было ужасное унижение. И дело даже не в том, что я получил мало, а то, что люди, сделавшие хорошую работу, вкальывавшие за десятерых, получили столько же денег, как те, кто вообще никакого отношения к делу не имел. Наши «ские» получили столько, сколько сторож или техник из соседнего отдела, потому что денег было слишком много и никуда, кроме премий, их нельзя было девать. Только мы с Сэмэном получили по окладу. Это был удар по самолюбию, ужасный удар.

Мне сочувствовали, но совсем недолго. Потом я ощутил холодок, потом последовало похолодание. Я свою команду подвел. Из-за моего дурацкого, неизвестного никому спора с директором, они получили столько денег, сколько уборщица тетя Вера. Им тоже было обидно. На кой черт они из кожи вон лезли полтора года? Зря мне поверили... Я снова почувствовал отчуждение, и на этот раз холодок вряд ли исчезнет полностью. Я и СКБ стали отдаляться друг от друга. Не так уж глуп оказался директор. Он мне очень действительно отплатил. За Мишу. За мою ухмылку на банкете.

Только Сэмэн был искренне расстроен. Но и он не ожидал, что я час спустя подам заявление об увольнении.

Этот час я провел на той же самой скамейке, на которой расстраивался после скандального разговора с директором. О чем я тогда думал – в точности уже не помню. Но сейчас, почти через столетия мне кажется примерно так. Если бы было одно из двух – или только самодурство явно не слишком умного директора, или безвыходная ситуация с Мусей, я бы справился со своим болезненным самолюбием, неумением держать удар и желанием вовремя смыться. Но оба эти события произошли одновременно, вот в чем суть. Это уже было слишком.

И я неожиданно почувствовал, что мое время в Одессе истекло.

Да, Сэмэн был очень расстроен. Во-первых, он хорошо ко мне относился, во-вторых, верил в меня. И не последнее – он был не слишком идеален – у нас намечалась очень серьезная тема, заказ оборонки. СКБ поручали разработку тренажера для вертолетчиков, там было много механики. И в этом Сэмэн рассчитывал на меня. Но главное все-таки – хорошее отношение. Весь вечер на праздновании 1 мая, который я в СКБ еще отгулял, он меня уговаривал остаться. И жена его почти весь вечер потратила на меня...

Директор – да будет вам известно – тоже вызвал меня и, глядя куда-то в сторону, сказал, что не советует уходить. Как раз в эти дни стало известно, что завод получил первое место в министерстве, и главным доводом был наш останкинский проект. А в это же время директор грубо выжил ведущего конструктора этого проекта... Нехорошо. А может, человек просто понял, что перегнул палку? Вполне возможно. И Миша определенно расстроился из-за всех этих нелепостей.

И еще для объективности могу добавить, что в этой истории мое происхождение никакой роли не играло. Если бы на моем месте был гордый внук славян или финн, или тунгус, или калмык – все было бы точно так же. Но реакция, возможно, была бы другая. Возникающие время от времени национальные мелодии все-таки подспудно влияли на мои отношения с окружающим миром. Может, не конкретно в этом случае, но влияли... В этой жизни все связано.

Чувство чужого снова возникло. А может, и не исчезало, может, это была только иллюзия...

Словом, я вынул свой сиротский чемодан и собрался в путь-дорогу.

Мама плакала, но сказала, что дети должны улетать, когда приходит время. Моя мама была умной женщиной. А Муся впервые со дня нашего знакомства утратила мужество, когда я уезжал, она не плакала, а рыдала...

У меня к тому времени появились влиятельные друзья в Москве. Они могли устроить мне московскую прописку. Я собирался переехать туда, где были (хотя к делу это не имело отношения) две мои прошлые любви, туда, куда рвались чеховские три сестры.

Расстояние между Одессой и Москвой тысяча триста километров. Кто тогда мог предполагать, что добираться до столицы я буду долгих пять лет?

Но об этом я расскажу как-нибудь позже. Если Бог даст.

Конец первой части